

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



**ОГОНЁК**

№ 22

1986



*Владимир КОРНИЛОВ*

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»

**ПРОПУЩЕННЫЕ ЗОРИ**



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 22

---

Владимир КОРНИЛОВ

# ПРОПУЩЕННЫЕ ЗОРИ

*Рассказы*

Москва. Издательство «ПРАВДА»  
1986

## **Владимир КОРНИЛОВ**

*Владимир Григорьевич Корнилов родился в 1923 году в г. Ленинграде. Среднюю школу окончил в г. Советске Кировской области в 1941 году. После военного училища выехал на фронт, в Подмосковье, воевал в пехоте до 1944 года. Был трижды ранен. После войны окончил Литературный институт им. А. М. Горького.*

*Автор романов, повестей, рассказов. В 1985 году удостоен Государственной премии РСФСР им. Горького за диологию «Семигорье» и «Годины».*

*С 1961 года — ответственный секретарь Костромской писательской организации СП РСФСР.*

*Член КПСС с 1943 года.*

*Награжден боевыми и трудовыми орденами и медалями.*

## МАРТОВСКИЕ ЗВЕЗДЫ

«Пойти? Или остаться?»...

Пантелеев подтянул накиннутую на плечи шинель, повернул ладонь к звездам, взгляделся в стрелки часов. Второй час. Если идти, время собираться.

Кроме черной земли и звезд, ничего не было видно. И у леса, где засели немцы, было темно и тихо. Лишь внизу, на дне лощины, слышался плеск, звон обламываемых льдинок, к ночи настывших по окраинам,— это набирала весеннюю силу маленькая речка с ласковым названием Талинка.

Пантелеев присел на выступ у входа в землянку, закурил. Талинка будоражила своим знакомым говором. Десять лет он не слышал, не видел эту тихую, только по весне бурливую речку! Когда-то жаркими летними днями ловил пескарей в Талинке Лешка, сын Прокопия Пантелеева, местного лесного объездчика. Сидел и сейчас на берегу Талинки тот самый Лешка, но уже не босоногий мальчишка, а военный фельдшер, почти врач, только из-за войны бросивший институт. По-своему решил горячий на поступки студент: пусть фельдшером, но на фронт. И вот от Москвы до Смоленщины прошагал он вместе со своей стрелковой бригадой. Сколько вернули они русским людям полей и лесов, сел и дорог! А перед его родной деревней остановились.

Два дня эта неуютная лощина жила суматошной жизнью боя. Земля вздрагивала от разрывов; воздух, темный от гари, сжимали и рвали залпы минометов и пушек, люди кричали — никто не слышал их крика.

Пантелеев, развернувший свой санитарный взвод на берегу Талинки, путал день с ночью, принимая и перевязывая раненых в наспех оборудованном блиндаже. По доносившейся стрельбе было ясно, что батальон залег, и все-таки каждого, кто приходил с переднего края, он нетерпеливо спрашивал:

— Как там?

— Лежим...

Пантелеев молча выслушивал тихий ответ, снова брался за бинты. На третий день батальон окопался, непривычная тишина повисла над израненной землей. Пантелеев вылез из блиндажа осунувшийся,

с лицом, зачерненным копотью, без радости оглядел притихшую лошину, близкий лес на холмах, так и не отвоеванный у врага. Обходя воронки, разбросанные ящики из-под мин, разбитые повозки, пошел к одинокому полуразрушенному сараю, залез на чердак, где минометчики устроили свой НП, молча сел у стереотрубы...

Родная земля была перед ним. И лес, когда-то исхоженный из края в край, рядом, видны даже иглы на соснах, слегка притуманные морозцем. Вот и Каменка... Жарко стало сердцу. А всего и видать-то низкие печные трубы да темные углы подсыхающих тесовых крыш. Своего дома он не видел: дом был в низине, у самой Талинки. Но Пантелеев знал, что он там, этот старый крестьянский дом, роднее которого была разве одна только мать... Из Каменки в соседние Риссавы шла знакомая дорога. В эту зиму, видно, мало ездили по ней: снег в колеях не успел слежаться и растаял так же быстро, как и вокруг на полях. Лишь у поломанного плетня, прикрывавшего в метельные зимы дорогу от заносов, залежались сугробы.

Двенадцать лет было Лешке, когда колхозники начали ставить придорожный плетень. Вязали жердины, вплетали между ними гибкий березовый хворост. А когда дошли до бугра, каменские парни и девчата вдруг загорелись вместо плетня насадить деревья.

Веселым был тот осенний день! Дождь только что перестал. Вырвавшееся из хмари солнце пронизало просторный, словно похудевший лес. Мокрые деревья, обдуваемые ветром, дружно роняли на опавшие листья капель. В телегу к Лешке грузили березы и сосенки, с глыбами влажной земли на корнях. Размахивая вожжами, покрикивая на лошадей, он подвозил деревца из леса к дороге, радуясь веселой трудовой суетне, что была вокруг. Он подпрыгивал на тряской телеге и во все горло орал песню о трех танкистах.

У дороги озорные парни и шумливые девчата, веселые и грязные, устанавливали привезенные деревца в ямы и тут же обкидывали землей и заминали. Лешкин отец, Прокопий Иванович, растеряв свою степенность, от удовольствия потирал руки. Ему, лесному человеку, по душе было затеянное дело. Он и показывал, и помогал, и везде успевал. Успел даже дать Лешке подзатыльник, когда, не управившись с лошадей, он наехал на только что посаженную елочку.

Деревья прижились и уже в первую зиму укрыли дорогу от заносов. Сейчас заброшенная, неезженная, она тянулась ничейной полосой. Березы и ели, срубленные, лежали на земле. Деревья мешали немцам стрелять, и они покосили все, до последней малютки елочки. Не стало рощи, нет рядом отца, матери.

Война разбросала людей. Одних на тысячи километров от дома, других, как Алексея Пантелеева, из тысячеверстной дали привела обратно к родной избе.

И вот у самых ног дорога, рукой подать — деревня, прыгай вниз, скидывай полушубок, несись по земле, как в детстве, в ушах чтоб

свистело! Только холм перевалить — и вот он, дом с двумя ступеньками у крыльца и по-утиному кричающей в сенцах дверь, твой дом, где впервые закричал ты у материнских рук. Беги!..

Не побежишь: два дзота с левой стороны, у леса, и справа, у поваленной рощи, настороженно глядят на дорогу черными провалами амбразур. А на склоне холма, что круто поднимается к неважным трубам Каменки, бугорками лежат вчера убитые солдаты...

Где-то в темноте, как дзота, плещется, возится Талинка. Пантелеев сидит у блиндажа, слушает ее осторожную возню, курит, думает. Ему решать, пойдут они сегодня с Петром Башашкиным на выход или останутся. Никто не приказывал им идти, но они все-таки пойдут в эту темень к опасной лощине возле левого дзота, где лежат вчера убитые солдаты. И если сегодня они убьют хотя бы одного врага, завтра, когда батальон поднимется снова, солдатам легче будет сделать лишний шаг.

...Ночью земля отдыхала. Грязь и лужи застывали. Куда ни ступишь, хрустит под сапогом лед.

Пантелеев рукой нащупал спуск в блиндаж. Отодвинул висящую у входа плащ-палатку, осторожно протиснулся внутрь. Густо пахло теплом, прелой соломой, мужским потом. Рукой нащупал земляные нары, накрытые полшубком ноги. Потряс.

— Что надо? — недовольно обозвался Башашкин.

— Пора идти.

— Ты?.. — Слышно было, как Башашкин сел, почесал голову. — Ты что это, всерьез? — Он помолчал, зевнул. — Хватит дурить. Ложись иди.

И заворочался, устраиваясь на нарах.

Пантелеев молча вышел, постоял, привыкая к темноте. Потом надел на плечо солдатский мешок с патронами, тяжелой гранатой, сухарями и куском сала, за пояс заткнул лопатку, на другое плечо закинул винтовку, по памяти, поглядывая на звезды, медленно пошел по неровной твердой земле к лесу.

Остановился у знакомого придорожного плетня. Лес, в котором были немцы, темнел метрах в двухстах за дорогой. Перед лесом тянулись траншеи, и где-то совсем рядом, прикрывая коварную узкую щель, таилась приплюснутая шапка дзота. Ложиться надо было здесь. Отсюда, с бугра, он мог обстреливать лощину, траншеи и дзот. Но пробить затвердевшую землю лопаткой Пантелеев не мог. Он перетащил мешок и винтовку ниже по склону, начал рыть окопчик в сугробе у самого плетня. Стало жарко. Пантелеев отложил лопатку, встал передохнуть. Кругом по-прежнему темно и тихо. Звезды как будто поднялись выше, откуда, с вышины, мерцали беспокойным предугреним светом.

И Пантелеев, вдруг по-мальчишески закинув голову, загляделся в звездную необъятность. Знакомые четыре звезды — две рядом и две

одна за другой — светили над лесом. Эти звезды среди многих он заметил еще в детстве, когда вместе с мальчишками пас по ночам колхозных лошадей. Звезды были похожи на заячий след, и он уверял ребят, что однажды ночью один из зайцев, набегавшись по земле, собрался с духом и прыгнул на небо, да не удержался, упал обратно, а следы его четырех лап так и остались на небе. Эти самые звезды он, Лешка, однажды долго показывал Машеньке, худенькой дочке колхозного кузнеца. Они сидели за околицей на холме, который и сейчас в темноте виделся Пантелееву. Перед ними было поле, и поспевший овес под ветром шелестел и только им едва слышно позванивал налитыми овсяными-сережками. Машенька глядела-глядела и никак не могла увидеть, где же следы того сумасшедшего зайца, что прыгнул на небо. Она старательно запрокидывала голову, все теснее прижимаясь к Лешкиному плечу, и Лешка вдруг сам, своей лохматой головой, загородил все звезды и поцеловал Машеньку в ее любопытный нос.

Замечтавшийся Пантелеев не сразу услышал, как похрустывает в ночи земля. Кто-то там, за дорогой, осторожно переходил с места на место.

Пантелеев прислушался. «Наверно, ребята из первой роты, — подумал он. — Их фланг». Он аккуратно отломил половину сигареты, укрыв ее в мундштуке, достал зажигалку. Осторожное мерное похрустывание послышалось у самой дороги. Почти напротив люди остановились. Пантелеев уже сделал движение подойти, но удержал его тихий отчетливый голос:

— Hast du gefunden?

— Nein. In den Säcken — die Zwiebäcke. Man muß nach dem Offizier weiter suchen.

— Es dämmert schon, komm. <sup>1</sup>.

Пантелеев стоял, держа в поднятой руке зажигалку. Один шаг, одна вспышка, и он сам подставил бы себя врагу!

— Ja, komm... — сказал голос.

Снова осторожный хруст подмерзшей земли. Минута, другая. Шаги стихают где-то у дзота. Пантелеев опускает затекшую руку. Он не один под мартовскими звездами. И не мечты, не тишина и любовь живут здесь, на родной земле!

Над бугром проглянули мутные очертания березы. Пантелеев торопливо докопал в сугробе окопчик, расстелил по дну плащ-палатку, снял каску, обмотал ее бинтом, забинтовал и ствол винтовки, чтобы не выделялось на снегу.

---

<sup>1</sup> — Нашел?

— Нет. В мешках сухари. Надо искать офицера.

— Скоро рассвет, пойдем.



Положив винтовку, Пантелеев отступил от окопчика, прикидывая, как заметен он со стороны, взглянул — и холодный пот облил спину: чистый снег, береженный в сугробе и выброшенный из окопчика, предательски белеет вокруг.

Короткие минуты Пантелеев мог еще оставаться невидимым. Если бросить все и побежать, он успеет перевалить через спасительный бугор, а может быть, и уйти в батальон. Но он только упрямо сжал губы: решившись на что-то, он никогда не отступал.

Оглянув пологий склон, обозначившийся в рассветном сумраке, он подбежал к ближайшему убитому бойцу. Их несколько лежало тут, почти рядом. Рукой обхватив окаменевшую грудь солдата, больно стукаясь коленкой о согнутую его ногу, Пантелеев подтащил бойца к окопчику, бережно опустил на чистый снег.

— Прости, браток... Сослужи еще службу... — прошептал Пантелеев.

Своим телом солдат закрыл его с самой опасной стороны. Вытянувшись в окопчике, Пантелеев терпеливо ждал, когда видна станет вся лощина и лес там, за дорогой. Наконец и на дне лощины завиднелись стебли перезимовавшего бурьяна. Пантелеев коротким движением придвинул винтовку к плечу.

Сильный оптический прицел открыл невидимую издалека лесную жизнь. Грудились по краю опушки сумрачные стволы сосен. Белел между ними ствол молодой березы. Ее хорошо было видно всю, в дымке тонких ветвей, уже затяжелевших набухшими почками.

Между стволами лежал снег. Он потемнел, оплыл, но все еще отлеживался в лесном холодке.

Откуда-то вспорхнула маленькая птаха. Пантелеев видел, как она прилепилась к шершавому стволу сосны, огибая его винтом, быстро полезла вверх. Он узнал птаху — доверчивого трудолюбивого поползня. Лес и там, за немецкими окопами, жил своей привычной ему жизнью.

Пантелеев перевел винтовку влево, на вершину холма, где кончался лес. С холма вниз вдоль опушки шла траншея. Она пересекала лощину и поднималась снова на холм, к дзоту. Траншея почти вся была на виду, у дзота виднелась только массивная, сдвинутая наперед шапка.

Пантелеев внимательно просмотрел траншею, взглядом ощупал каждый ее поворот, каждую ямку на бруствере. Всюду безлюдность... Надо было ждать...

Глухо, одиноко и как-то сонно стукнул о дерево топор. Пантелеев живо повернул винтовку, но рубили где-то за дзотом. Стук топора отчетливо доносился по утреннему морозцу. В лесу треснуло. Пантелеев видел в прицел, как одна из берез наклонилась, стала медленно падать.

Топор стукнул снова глухо и спокойно. Пантелеев вжался в окопчик, как будто удар пришелся по нему. Рубили лес, выхоженный отцом. А он, сын и солдат, лежал и слушал!

Когда упала вторая береза и задрожала ветвями третья, Пантелеев не выдержал, встал на колени, положил винтовку на жердину плетня. Сейчас он не думал, что враг может заметить его. В глазок прицела он наконец-то увидел немца. В сером кителе, в финской шапке с длинным козырьком и подвернутыми вверх наушниками, он стоял у березы и, почти не сгибаясь, рубил ее высоко от земли. Он стоял боком. Пантелеев хорошо видел даже складки на его брюках, заправленных в низкие широкие сапоги; пола кителя сзади топорщилась и при каждом движении вздрагивала. Рубил немец не спеша. Вот он опустил топор и отступил на шаг.

Береза вздрогнула фиолетовыми, готовыми к жизни ветвями и, клонясь вершиной, глухо ударилась о землю.

Пантелеев слегка подался вперед, положил палец на спуск.

Немец-солдат подошел к упавшей березе, аккуратно примерился, всадил топор в ствол. Снял с головы шапку, отряхнул грудь, колени. Теперь он стоял лицом к Пантелееву, и Пантелеев видел кисточку усов и широкий тяжелый подбородок.

Черное острое прицела дрожало где-то на шее немца. Пантелеев нажал спуск.

Выстрела он не слышал. Он только видел, как стремительно присел немец и тут же, коротким движением откинув ноги, залег за поваленной березой. Пантелеев промахнулся. Это было невероятно. И все-таки вместе с досадой он почувствовал облегчение: немец теперь знал о нем. Поединок их стал открытым. И теперь по-охотничьи настороженно он следил, как за белым стволом березы елозят черные задники сапог. Не поднимая головы, солдат что-то кричал. Пантелеев слышал его голос, испуганный и злой.

«Наверное, из тех, кто ночью обшаривал убитых», — холодно подумал Пантелеев. Он все острее ощущал врага в том солдате, что скрывал себя за березой.

Солдат кричал.

Пантелеев достаточно знал по-немецки, чтобы понять, что требовал солдат. Он напрягся весь, до кончиков пальцев. Тонкая, такая родная сейчас стрелка прицела застыла над ослепительно белым от солнца стволом березы.

«Сейчас открюют огонь, — подумал Пантелеев. — Ну что ж...» Он сжал вдруг отвердевшие губы, упрямо прищурил глаз. Враг, притаившийся за березой, лежал на склоне и уползти не мог. Единственное, что он мог сделать, — пролежать до темноты или попытаться проскочить те десять—пятнадцать шагов, что отделяли его от траншеи.

Свистнули где-то справа пули, тут же, как будто у самого уха гулко застучал в дзоте пулемет. Пули свистели то справа, то слева, вдруг

густо и неприятно защелкали по плетню, сбивая на каску и плечи обломки ветвей. Пули вдавливали Пантелеева в дно окопчика, но он, как будто огромную тяжесть отжимая плечами, упорно стоял на коленях, не отрывая глаз от прицела. Сердце билось часто, как в беге, и каждый его удар Пантелеев ощущал пальцем, настороженно застывшим на спусковом крючке.

Темная фигура врага выросла внезапно над поваленной березой. Пантелееву показалось, что немец не бежит, а летит над землей, раскинув согнутые руки. Он видел щетку усов над разинутым ртом и круглые, широко раскрытые глаза. Стрелка прицела впиалась немцу под грудь. Пантелеев выстрелил. Наклоняясь вперед и набок, солдат плечом и головой ткнулся в землю. Ноги его поднялись и тут же завалились на сторону.

Пантелеев опустился в окоп, первые секунды после выстрела лежал, плохо соображая, что произошло. Он сделал то, что необходимо, нужно было сделать, но радость почему-то не приходила. Он повернулся на спину, подвигал руками, согнул и распрямил затекшие ноги. Наконец успокоился. Огляделся вокруг. Солнце светило уже выше старой березы, стоявшей одиноко на склоне холма. Тонкие ветви ее, спадающие к земле, сверкали точками ярких огней. Пантелеев не сразу понял, что ветви покрыты льдом, и это льдинки, подтаивая на солнце, сверкают. Горела каплями-огнями не только береза. По всему склону, куда доставало солнце, блестел растаявший иней — на бурой, перезимовавшей траве, на бугорках земли, даже на брошенном автомате. Невидимые, посвистывали где-то птицы. Сам воздух, казалось, звенел голосами ручьев, посвистом птиц, живой капелью, вразнобой падающей с нагретого придорожного плетня. Рядом на бугре кто-то отдувался и чихал: чу-уф-ф... чу-у-уш-ш. И вот оно: разлилось по земле весеннее, глухое и звонкое, радостное и нетерпеливое теревиное бормотание: бу-бу-бу-бу...

Два взъерошенных черныша, распушив хвосты и расставив крылья, кружились друг перед другом, в азарте как будто ослепнув на один глаз. Старый синевато-черный косач вдруг засеменял в сторону: бежал вокруг убитого бойца и снова наскочил на своего соперника. Наскочили, сцепились, разбежались и опять: бу-бу-бу-бу... Пантелеев почти не дышал, боясь случайным движением спугнуть жизнь, кипевшую вокруг. Это было необычное утро: щедро сияющее солнце, чистая, спокойная синева над головой, радостью сверкающая береза — такого ясного, звонкого мартовского утра еще не было в его жизни!

За бугром кто-то выстрелил. В ответ раздалась автоматная очередь. Вдалеке ударило орудие. Упали, рванули одна за другой мины. Снаряд, коротко взвывая, разорвался у старой березы. Косачи замолкли, потом поднялись, полетели к лесу. Война пугала весну.

Пантелеев повернулся, подвинул к себе винтовку.

Время шло.

В траншее, на опушке леса, никто не появлялся. Молчал и дзот.

Пантелеев достал из мешка сухари, кусок сала, фляжку с водой. Не торопясь поел, напился, фляжку убрал обратно в мешок. Потом скрутил из клочка газеты длинную сигарку и долго курил, коротая свое вынужденное бездействие. Он представил на своем месте Петра Башашкина и улыбнулся. Петро не выдержал бы в этом окопчике и часа, исчертыхался, изворчался, уполз бы обратно в батальон. А наверное, совесть все-таки гложет чертяку!

Пантелеев помнил, как вместе с Башашкиным они собирались на выход. Весь вечер сидели на берегу Талинки, общивали плащ-палатки сухой травой, чтобы легче было на месте замаскироваться. Пантелеев пришивал траву сам, затягивая нитку аккуратно и быстро, как шов на ране. Башашкину помогала молоденькая медсестра Лидочка из санитарного взвода Пантелеева, девчужка с вздернутым конопатым носиком и большими тревожными глазами. Башашкин с откровенным озорством поглядывал на девушку, смущал ее острыми шутками, хохотал, показывая свои великолепные влажные зубы, и всерьез пообещал Лидочке притащить за ноги живого и непременно молодого фрица. Лидочка плохо понимала шутки. Она бледнела, с неведичьей тревогой смотрела на веселого лейтенанта. Сколько шумел Петро и не пошел. Обидно было за друга. Хотя что с него возьмешь! Башашкин всегда, как майский дождь: то хлынет, то не дождешься!

Солнце грело в полную силу. Напористо бурлили ручьи. Сугроб, в котором лежал Пантелеев, подтаивал и время от времени оседал, ухая. В окопчике накапливалась вода, намочла плащ-палатка. Начали мерзнуть ноги. Стараясь согреться, он колотил их друг о друга.

Пантелеев — в который уже раз! — просматривал безлюдную траншею, когда услышал над головой звук, похожий на свист тугих крыльев. Мгновение шелестящий звук держался в вышине, и неожиданно, как будто сорвавшись с высоты, понесся к земле острый нарастающий визг. У поваленных берез коротко рвануло, черный дымок поднялся над молчаливой шапкой дзота. За ним еще один, потом вместе два округлых дымка словно всплыли вслед за первыми.

По тому, как упали снаряды, Пантелеев узнал «роспись» командира минометчиков Зяблова и понял — Башашкин с Зябловым послали ему свой привет. Он представил НП на тесном чердаке, мешковатого Зяблова у стереотрубы и рядом озорные глаза Башашкина: Башашкин придумал, «артиллерийский колдун» Зяблов послал привет из своих минометов. Пантелеев улыбнулся, стало как будто теплее.

Из батальона никто так не привлекал к себе Пантелеева, как Зяблов.

Смотреть на него со стороны — фигурой неладен: сутул и даже мешковат, а глянешь в лицо — будто крепкое, только что покрасневшее на здоровой ветке яблоко увидал! Непривычно было видеть в грубых фронтовых буднях это нежное, с постоянной краской смущения лицо и голубые, под стать чистому небу, задумчивые глаза.

Зяблов был молод, одних с Пантелеевым лет, еще со школы готовил себя в математики, но в разгар войны попал в артиллерию. На время он постарался забыть о рабочем столе, тихим голосом командовал минометчикам и удивительно точно рассчитывал каждый залп. Пантелеев однажды видел, как по приказу комбата Зяблов первой же миной развалил крышу едва приметного блиндажа, двумя следующими минами разбил пешеходный мостик через ручей. Когда его похвалили, он вспыхнул весь и растерянно стал доказывать, что это случайность, что по теории вероятности...

Пантелеев никогда не высказывал молодому артиллеристу своих симпатий. Но если бы Зяблову грозила беда, он бы не задумываясь закрыл его собой...

В России, где север ближе, чем юг, даже в самом конце марта день по-зимнему быстро клонится к вечеру. Затихают ручьи, куда-то прячутся птицы. Воздух холодеет, становится прозрачным и каким-то пустым. В такие вечера хочется молчать и думать о чем-то хорошем. Пантелеев лежал на спине, смотрел, как за одинокой березой, где утром всходило солнце, медленно густеет синева. Где-то там, на далекой Вятке, темень уже окутала лес и поселок. И в каком-то домике отец и мать сидят, наверное, за столом, развернув газету и, может быть, так же вот думают о нем, о своем Алешке...

В лощине, у леса, что-то звякнуло, Пантелеев расслышал неясный шум, снова короткий звяк металла.

В мгновение он повернулся, приник к винтовке.

Там, где в лощину выходит глубокий лесной овраг, Пантелеев увидел черные угловатые каски. Они то показывались над бруствером, то исчезали. Не одна, не две — их было много. Они расходились по траншее влево и вправо, суетясь, сталкиваясь.

Глухой шум движения доносился из оврага.

Пантелеев похолодел: он не сразу понял, зачем появились эти черные угловатые каски. Но врагов так близко и так много он еще не видел.

Немцы что-то задумали. Но что?

...Ночью он шел сюда вдоль дороги по расположению второй и первой рот и не встретил бойцов своего батальона... Перед рассветом немецкие солдаты ходили у дороги... Вчера он слышал, как комбат сказал Зяблову: «Ударим через третью роту в лес...» Значит, первую и вторую роты сняли и перебросили на правый фланг. Значит, сегодня ночью батальон сделает новую попытку ворваться в немецкие траншеи. Но это значит еще и то, что весь левый фланг оголен, что он,

Пантелеев, один сейчас в этом открытом поле и что враг задумал пакость именно здесь, где некому закрыть проход, где по лощине можно выйти прямо на минометную батарею Зяблова!

Пантелеев уже не слышал затихающего говора ручьев. Только два звука различал он в тишине вечера: один — холодное позвякивание металла в овраге, где готовилась смерть, другой — живой, горячий, нетерпеливый — здесь, под прижатой к груди рукой...

На бруствере появились солдаты. Они вытянули из траншеи пулемет. Один из солдат, низенький и толстый, взвалил пулемет на плечо, свободной рукой поправил каску, осторожно, маленькими шажками, начал спускаться вниз. На правом конце траншеи тоже показались солдаты. Придерживая на груди автоматы, один за другим они сходили в лощину. Враги накапливались в лощине, как мутная вода во вдруг запруженном ручье.

Еще десять — пятнадцать минут — и вся эта масса солдат молча двинется по глубокой лощине, расчетливо и страшно ударит в самое сердце батальона.

Пантелеев не мог сосредоточиться, что-то мешало решить самое главное: здесь остаться или бежать в батальон. Нет, до батальона ему не добраться. Если даже каким-то чудом он перебежит открытое поле, батальон все равно не успеет принять бой с тыла. Надо остаться. Остаться... Но что он сделает один против ста?!

А что... если...

Ведь страшный поток солдат наверняка прокатится по самому дну лощины. Мимо него. Он останется жить. Он будет слышать стук своего сердца. Ходить по земле. Вдыхать запах хлебных полей. Он еще увидит солнце и лес, и дом, и звезды. Все, чем щедра земля, — все будет еще радовать его, живого!..

Резким движением Пантелеев сдвинул каску на затылок, больно провел кулаком по внезапно вспотевшему лбу. На какой-то миг он увидел себя живого, одиноко бредущего под холодными мартовскими звездами. Куда? Он и сам не знает. Везде черно и пусто. Батальона нет, нет дома, и родная земля ему не родная..

Он подтянул к себе солдатский мешок. Достал четыре обоймы с патронами, сдул с них мусор, положил на правую руку, рядышком, одна к одной. Потом вытащил круглую тяжелую гранату, пристроил ее рядом с патронами, подумал и переложил по левую руку. Этот кулак стали, в котором зажата смерть, он приготовил для себя. Теперь, кажется, все.

Он прижался к винтовке и застыл, почувствовав, как тронул его за спину вчера убитый солдат. Повернулся, внимательно посмотрел в спокойное лицо солдата. Потом взял его негнущуюся руку, бережно передвинул тяжелое тело повыше на сугроб.

В прицел Пантелеев хорошо видел каждого врага в отдельности.

Солдаты сгрудились на дне лощины. Иные сидели на земле, положив автоматы на колени. Солдаты ждали темноты или приказа.

Пантелеев понимал: стрелять в них бесполезно. Пятью или десятью своими выстрелами он не остановит врагов. Ему надо заставить врага огрызнуться, стрельбой выдать себя, чтобы в батальоне не могли не услышать, не понять, откуда идет беда...

Сумерки сгустились на дне лощины, под деревьями. Высокий бруствер, насыпанный перед траншеей, пока еще был освещен зарей, и Пантелеев отчетливо видел ровный срез траншеи. Он медлил, терял дорогие минуты, и он это знал. Но упорно продолжал смотреть. В кругу прицела появлялись каски, плечи, обтянутые шинелями, короткие автоматы, наискось прижатые к груди, солдатские лица — хмурые, озабоченные, испуганные. Пантелеев ни на чем не задерживал взгляда, но, когда видел испуганные лица, ему становилось легче: перед ним были враги, которые сами боялись смерти.

В ямке, выщербленной на бруствере, Пантелеев наконец увидел то, что искал: тусклые стекла бинокля и над ними высокий тупой полукруг фуражки. Фуражка приподнялась над биноклем, рядом с ней тотчас выросли две каски. Фуражка повернулась вправо, одна из касок отделилась и, то показываясь, то исчезая, быстро поплыла по траншее. Через минуту в лощине появился маленький, юркий солдат. Пантелеев услышал легкий шум, солдаты в лощине зашевелились, те, кто сидел, поднялись. Высокая фуражка повернулась и снова опустила на бинокль черный козырек.

Пантелеев, сдвинув пальцами винтовку, вытянулся и, как стрелка компаса, замер, нацеливаясь в одну точку. Никогда еще не был так важен для него выстрел. В него, в этот выстрел, он вкладывал сейчас все: и боль прощенья, и надежду на жизнь, и долг перед друзьями, и свою ненависть к этой спокойной, высокой, безукоризненно расправленной фуражке с черным козырьком.

Фуражка повернулась вправо, открыв белое пятно лица.

Пантелеев выстрелил. Бинокль блеснул стеклами, клюнул перед собой землю. Высокая фуражка покосилась, упала, открыв лысую голову. Какое-то мгновение Пантелеев видел тусклый отсвет зари на словно отполированной голове, потом голова завалилась в траншею.

— Все! — с облегчением выдохнул Пантелеев.

Подряд, не торопясь, он выстрелил четыре раза в оцепеневшую группу врагов. Потом вогнал новую обойму.

Он стрелял и ждал, что вот-вот начнут стрелять враги. Но лощина молчала. В тишине вечера раздавались только его выстрелы, одинокие и будничные. В батальоне никому ни о чем они сказать не могли.

Пантелеев выстрелил еще два раза. Лощина молчала.

Лежа за высоким сугробом, он уже не мог видеть близко бегущих солдат, но он слышал внизу топот ног и с ужасом понял, что враги торопятся пройти мимо. Они отмалчивались. Они шли на батальон.

Тогда Пантелеев встал. Не выпуская винтовки, он поднял тяжелую гранату и влез на сугроб. Он встал рядом с убитым бойцом, размахнулся, швырнул гранату в лощину. Потом поднял винтовку и открыто стал стрелять в темные согнутые, бегущие мимо фигуры.

Теперь он хорошо был виден оттуда, из траншеи, в которую завалился лысый человек в высокой фуражке, потому что именно оттуда, из траншеи, раздавалась злая пулеметная очередь. Наконец-то! Из лощины будто пахнуло жаром автоматной пальбы. Воздух зазвенел от сотен пуль. Молчание было нарушено!

Прежде чем Пантелеев задохнулся ледяным холодом, ясно, как днем, он увидел родные крыши Каменки с живыми дымящимися трубами, услышал тихий-тихий, неведомо как долетевший оттуда, из недалекого детства, не то шелест, не то звон созревшего овса. Овес звенел, а голос Машеньки, тихий и удивленный, спрашивал: «Леш, а Леш, да где ж те звезды?..»

Пантелеев упал рядом с убитым бойцом, упал и почувствовал, как вздрогнула земля: раз, другой и два раза подряд. Потом она еще вздрогнула, потом еще... У Пантелеева шевельнулись остывающие губы. Он знал, кто бил по земле тяжелыми ударами. «Зяблов, друг ты мой... Бей их теперь...»

Когда наступила ночь, затихла земля у маленькой смоленской деревушки Каменки. Тихо было в лощине, тихо было на бугре, где лежал неподвижный Пантелеев.

А над землей во всю ширь искрящегося неба светили ясные и чистые мартовские звезды.

## ПРОПУЩЕННАЯ ЗАРЯ

Приходилось ли вам молча и трудно прощаться с уходящим днем?

Много раз встречал я вечерний сумрак в лесу, и меркнувший дневной свет никогда не вызывал во мне раздумий. Я спокойно коротал ночь у костра, ожидая неизбежный рассвет.

Мы привыкли по ночам видеть звезды, днем радоваться солнцу и, радуясь этой щедрости жизни, не всегда слышим тихий перестук часов в своей комнате.

А стоит иной раз вслушаться и почувствовать: время идет!.. Время идет!..

...В первую послевоенную весну охотился я в безлюдных местах, на разливах.

Вечерело. Я плыл в челноке, отыскивая сухое место для ночлега. Где-то в стороне напористо шумела река, а здесь, среди затопленного леса, было тихо. Черные молчаливые ели и полоса бледной зари отражались в неподвижной воде.

Ночь всегда неуютна для одинокого человека. Но сегодня с непривычным беспокойством вглядывался я в быстро темнеющие



разливы, настороженно вслушивался в немоту всегда живого леса. Один только тонконогий дрозд пытался нарушить наступившее безмолвие: взбѣрошил перья, перелетел на мохнатый палец сосны, свистнул призывно. Никто не откликнулся ему.

Заря еще светила на разливы. Но вот последний слабый ее отблеск накрыла темнота. Пахнуло от подтопленных берегов прохладой.

День ушел.

Долго я плыл в ночи, натываясь на кусты и деревья, пока случай не вывел меня к одинокому костру. Вдрагивающий огонь освещал нависшие лапы ветвей, лежащего на земле человека. Я разглядел лодку у берега, двустволку, низко висящую на суку; все говорило, что под сосной расположился охотник.

Я вылез из челнока, подошел, поздоровался. Человек молча осмотрел меня, недовольным жестом пригласил садиться.

Я сидел и не шевелился, потрясенный видом охотника: у него было опаленное неподвижное лицо и не было ног.

Уже потом, когда прошли минуты, я разглядел в человеке юношу. Было что-то трогательно-печальное в выражении чистой половины его лица, в крупном завитке волос, упруго спадавшем на край спокойного лба, в той мягкой задумчивости, с которой смотрели его глаза. Юношу проглядывала в нем рубка, как молодая трава в сожженном лесу.

Мысли мои путались. Я думал: почему он один? Зачем он здесь, в глуши, где кричи, стреляй — никто не откликнется? Разве мог я поверить, что этот человек охотится?..

Мне казалось, я чувствую, как тяжело и холодно думает о себе юноша. Я даже видел, как будто сквозь туман, его отца, мать, которые почему-то походили на моих стариков, видел их отвердевший взгляд, когда в дом вернулся их сын, — не работник, не жених и, как бы ни были святы его раны, — вернулся тайным горем их старым годам.

Я думал об этом, и в голову назойливо лез вопрос: зачем приплыл сюда, в безлюдье, искалеченный войной человек? Я не сомневался, что он возвратился с фронта: следы войны тогда были всюду — на земле и на людях...

Человек, занятый своим, казалось, не замечал меня. Он лежал на животе, положив голову на руки. Его сдвинутые красные надбровья выражали напряжение — он думал. Ближе перед ним колыхались гибкие языки пламени. Временами горящие сучья встрескивали, и тотчас вместе с дымом уносилась вверх суетливая стайка искр. Яркие и быстрые, они взлетали, и темнота как будто проглатывала их. Человек упорно следил, как пропадают в темноте горячие искры.

От напряженного молчания, от зловещего крика откуда-то прилетевшей совы, может быть, от собственных скорбных раздумий, но в моих глазах уже стояла картина холодного утра: безжалостно взвесил то, что осталось ему в жизни, человек протягивает руку ружью, и выстрел обрывает его тяжелые думы...

— Вы слышите? Как он кричит тоскливо!

Человек ловко пронес короткое тело между рук, сел.

— Минут пятнадцать слушаю этого чирочка. Все летает и свистит, свистит... Подругу найти не может!

Руками наломав сучьев, он подложил их в огонь, отряхнул приставшие к курточке хвоинки, нагнулся, вытащил из темноты рюкзак.

— Не мешало бы дровец собрать, — сказал он. — Вы бы посмотрели — тут кругом валежник.

Костер щелкнул, бросил мне на колено уголек. Я не шевелился. Только когда уголек прожег штанину и больно уколол, я поднялся и ушел в темноту. Нащупав ствол дерева, я прислонился к нему и долго стоял, бездумно глядя в небо. Светили сквозь ветви спокойные звезды, неторопливо шваркали селезни, мелодично посвистывал чирок. Пахло перепревшими листьями, мокрой землей, горьковатым запахом влажной осины. Ночь окружала меня, весенняя, полная жизни, в темноте то близко, то далеко звучали ее тихие отчетливые голоса. Вот и сова крикнула, протяжно и глухо, и крик ее был знакомо прост: как будто дунул кто-то в горлышко бутылки...

Набрав сучьев, я вернулся к костру. Оживившийся охотник деловито чистил картошку, в его руках двигалось и мирно поблескивало лезвие ножа. Рядом на расстеленной газете лежал хлеб, горка соленых огурцов. Все здесь, у огня, было по-домашнему просто и уютно.

Удобно расположившись на земле, мы закусили. Потом, тихо переговариваясь, пили из железных кружек чай. К молодому охотнику нет-нет да и возвращалась задумчивость, он переставал слушать меня и говорить, молча прислушивался к чему-то. Но тревога моя ушла, теперь мне хотелось говорить, вызвать на откровенность моего собеседника, и я начал рассказывать о своих прежних охотах.

Ничто так не сближает людей, как охотничья страсть, ничто так не увлекает, как азартный охотничий рассказ. В моем воображении всплывали картины былых удач, и словами, жестами я старался донести каждую подробность своих воспоминаний.

Молодой охотник внимательно слушал, продолжая неторопливо пить чай. Внезапно он насторожился, жестом прервал меня.

— Послушайте! — сказал он быстро.

Я услышал торопливые взмахи крыльев, скупое побрякивание уточки и торжествующий свист чирка.

Глаза охотника блестели. Улыбаясь, он выразительно глянул на меня.

— Разыскал все-таки, а?..

Торжествующий свист заглох в темноте. Некоторое время юноша сидел молча, потом, не поворачивая головы, сказал:

— Вот вы сейчас про охоту рассказывали. И на первом месте

у вас — что вы убили. Мне кажется, если вы завтра встретите этого чирка, вы его наверняка убьете...

Я с удивлением смотрел на него.

— Что же тут преступного? — спросил я. — Постановлением разрешено бить селезней-чирков...

Мой собеседник усмехнулся.

— Дело не в постановлении. Вы наблюдательный охотник, вы не могли не заметить, какими постоянными парами держатся чирки. Кряквы — другое дело. Те — настоящие полигамы. Летом кряковый селезень только мешает утке. Их и стреляешь со спокойной совестью. А чирков — нет, не поднимается рука...

Он задумчиво покачал головой. Мне стало неловко.

— Как-то не приходилось размышлять об этом, — признался я.

— Раньше и я не думал о каких-то там чирках, — сказал он тихо. — Это вот... после войны думы пришли. Теперь не только на охоту, на все по-другому смотришь. — Он поставил кружку, подложил в костер дров, взгляделся в ночь. — Сегодня вечером вы должны были видеть, как уходил день. Не знаю, была ли у вас такая мысль, но я думал: этот день не вернется. Я говорю не просто о дне, я говорю о дне жизни...

Он сидел, опираясь рукой о землю. Огонь освещал чистую половину его лица с крупным завитком волос. Голос у него был тихий, говорил он неторопливо. Видно, то, о чем говорил он сейчас, он долго вынашивал в себе. На охоте, как в вагоне поезда, откровения бывают неожиданными и глубокими.

— Знаете, о чем больше всего я жалею? — спросил он, глядя не на меня, а по-прежнему в огонь костра. — О пустых днях. На войне мы не думали о себе: надо было воевать. Для меня война кончилась неожиданно, и, когда она кончилась, мне пришлось задуматься о себе. Тогда я понял, сколько их у меня, пустых дней! Может быть, это было тяжелее, чем эта боль, — он коснулся рукой лица. — Позади — ни одного достойного дела, впереди... Он нахмурился, помолчал. — Тогда я кое-что понял. Знаете, в дождливую погоду бывает: вырвется из-за туч солнце, пробьет лучами лес, и неразличимо-серое вдруг превратится в сверкающий зеленый мир. Вот так открылось мне, что значит один день жизни...

Он поднял короткий сук, не спеша подгрел развалившиеся угли костра.

— Я много думал, — сказал он тихо. — И теперь знаю: радость прожитого дня — это радость сделанного за день. Сказать об этом просто. В жизни все трудно дается. Я ведь на фронт прямо из школы труда, надо было еще доучиваться. Стал работать, узнал, сколько труда надо вложить, чтобы радость пришла.

Он вдруг смущенно улыбнулся.

— Я, знаете, преподаю математику в шестом классе. Были у меня

два безнадежно отстающих ученика. Сегодня опрашивал их по всему материалу, серьезно опрашивал. Оба ответили. Ответили хорошо, и не потому, что просто выучили,— заинтересовала наконец-таки этих мальчишек математика!.

Спокойная ночь стояла вокруг. Тихо потрескивал костер. Обгоревшая лесина тяжело осела в огонь, сноп искр жарко взвился в темноту.

Я помнил неловкое начало нашей встречи и молчал.

Под утро, едва забелело небо, мой ночной собеседник уплыл на лодке в приготовленный шалаш. Я остался на острове.

Взошло солнце. Все раздвинулось вокруг. У берегов на воду легли тени. Ветер взрыбил открытую водную гладь, вода, играя, ослепительно заблестела. Лес звенел от переклика птичьих голосов.

День поднимался над землей. Очередной день каждой человеческой жизни. И я понимал это.

К шалашу, где сидел юноша, раскинув крылья, спускался селезень. Выстрел гулко пронесся над водой, возбужденно отозвался в лесу. А я стоял на берегу и слушал утро.

Зарю я пропустил.

## ЛЕБЕДИ

Белые птицы появлялись всегда неожиданно — четыре живых снеговой белизны облачка над синей, холодной, сморщенной ветром водой. Далеко вперед вытянув тонкие шеи, плавно взмахивая, как будто обласкивая крыльями ветреную упругость воздуха, они летели по открытому пространству разливов, связанные друг с другом, все удивительно похожие.

Я провожал их взглядом, и странное чувство охватывало меня. Так было со мной однажды: вернувшись с войны, я попал на выставку картин Дрезденской галереи и простоял в неподвижности несколько часов, потрясенный тревожной красотой Мадонны Рафаэля.

Лебеди летели в одном им видимую даль, молча, низко, и доверчивость их страшила. Я знал, какое множество добрых и недобрых людей, ясным днем и в сумерках, в тумане над морем и в шквалистом ветре моросящих туч увидит низко летящих лебедей, и сердце сжималось от мысли, что, может быть, это последняя осень, когда я вижу живую красоту земли. В дни долгой зимы в наметанных метелями сугробах мне виделись раскинутые в неподвижности крылья белых птиц.

В то время я жил на кордоне у озера, неподалеку от знакомых разливов.

Озеро облюбовали чайки, чибисы, бойкие кулички, даже трогательные в своей птичьей задумчивости турухтаны с черными, рыжими, белыми пышными воротниками, из которых высовывались тонкие, как

шильца, клювики, поблескивали бусинки строгих глаз. Летом среди поднявшейся из вод травы плавали утиные выводки; по ночам и днем за открытыми окнами слышалось побрякивание беспокойных мамаш, свирельное перепискивание утят.

Когда выпадало время, я шел к озеру, тихо сидел в прохладе прибрежных ив. Август был теплым, безветренным, неподвижная вода чутко отзывалась медленными расходящимися кругами на шевеленье всплывшей к поверхности рыбы, на павший с куста лист. Хорошо думалось в покое остывающего лета!

И все-таки я ждал осени; ждал, когда смогу побывать на разливах, успокоить себя созерцанием живых пролетающих над холодными водами белых птиц.

Однажды, сидя на взгорке, в тени ив, я настолько ушел в свои мысли, что не сразу внял тихому ветряному шуму, осторожному плеску воды и лишь потом увидел лебедей. Ослепительно белые на солнце крылья они разом подняли, расправили, как расправляют занемешшие в усталости руки, таким же деликатным, чисто лебединым движением сложили; удовлетворенно качнулись их гибкие шеи, осенней желтизны клювы припали к воде. Среди зеленых берегов, на теплой синеве озера их снеговая белизна с легкой розоватостью отраженного солнца казалась неправдоподобной. Но лебеди были, вода расходилась от их движений, колебалась, ломала высокие белые отражения.

Птиц было три. Я знал, что лебеди живут парами, неразлучно, всю жизнь, и рядом с неожиданной радостью как будто ударил глухо и скорбно колокол. Почему-то я не подумал о дальнем трудном пути, непогодах, штормах, стерегущих в небесах все живое; почему-то я подумал о человеке. Жаль было третью, одинокую птицу и горько за людей, среди которых был тот, кто поднял свою убивающую руку.

Лебеди жили на озере два дня. По-прежнему они были доверчивы к земле, кормящей их: не улетали, когда пастух подгонял стадо на водопой; не пугались проходящих вдоль озера тракторов, только медленно отплывали от их настойчивого рокота на середину, все вместе — они и теперь как будто держались друг за друга.

Потом озеро опустело.

В конце октября я выбрался на разливы. Пусты, неуютны в эту пору озера! Холодный ветер сминал водную синь, гнал по открытым пространствам мелкие с пенным оскалом волны. Не было на этот раз успокоения даже в спасительном, вечно живущем в человеке ожидании.

Я уже собирался домой, когда вдруг увидел вдали, в промытой холодом сини, крохотные белые облачка. Дрогнуло сердце радостью; я бросил весла и замер, не отворачивая лица от ледящего ветра.

Лебеди летели низко над водой, плавно поднимая и опуская крылья, далеко вперед вытянув шеи. Летели молча, мне казалось,

устало, и чем ближе, яснее я видел их, тем яростнее оглушал меня звон странного, будто во мне гудящего колокола. Волны раскачивали лодочку, рукояти брошенных весел ходуном ходили перед грудью, а гул колокола все набирал силу и вдруг смолк. Над холодными осенними разливами из дальней дали в одним им видимую даль летели лебеди, летели открыто, доверчиво, печально.

Птиц было две.

## МАМА

Вода вскипела под зелеными тальниками: шум, плеск и отчаянный, на одной высокой ноте, удаляющийся писк. В просвете между ветвями и листьями на мгновение увидел темных носатых уток: напряженно вытянув шею, буруня крыльями и лапами воду, они что есть силы неслись в спасительные болотные заросли, будто крохотные, стремительные моторные лодочки.

Выводок уже оперившихся чирков исчез так же внезапно, как и возник перед моими глазами, и только один из утят метался в тальниках с такой испуганной суматошностью, с такой безысходностью, что мне даже показалось, будто он запутался лапами в наплетах крепкой болотной травы. Утенок метался по кругу, образованному взброс растущими тальниками, сбивал листья, падал в воду, тут же пытался подняться и, словно одернутый невидимой бечевой, снова падал, вздымая то слева, то справа кипень непроглядных брызг. И загнанно, жалобно кричал, взывая к моему состраданию. Суетясь, я направил лодку ему на помощь. Но выпутавшись из одного куста, он застрял в другом; выкарабкался все с той же вызывающей сострадание суматошностью, но опять неудачно зацепился в третьем... Глупый, не умеющий летать утенок вывел меня к чистой воде далеко от тех зарослей, где себя обнаружил. И только тут, на чистинке, когда распластавшись на воде, он, торопливо работая лапками и виляя всем своим неумелым телом, плыл перед моей лодкой, точно выдерживая безопасное, как казалось ему, расстояние и все забирал и забирал в сторону, подальше от своего куста, я вдруг увидел одновременно и зеленое с синей каймой зеркальце на плотных перышках крыла, которое бывает только у взрослых уток, и черный сторожкий напряженный глаз на темно-серой голове, низко прижатой к воде, — была это мама-уточка!

Когда, отведя от своих утят опасность, мама-уточка легко поднялась, облетела меня широким полукругом и плавно, красиво и заботливо опустилась в заросли, где невидимо таились ее дети, я грустно и понимающе вздохнул, — я вспомнил, как меня, искаленного войной, спасала от близкой смерти моя мама!

## ТЕПЛО ЖИЗНИ

В середине октября, после мокреда и ветров, приходят на Волгу ясные тихие дни.

Синева заполняет пойменные озера. Тонут в их глубине медлительные облака. И лесные речушки как будто приостанавливаются у желтых тальников; покрытые опавшими листьями, с краев оттененные гладью темной воды, они лежат среди молчаливых берегов, как ровные печальные дороги.

Плывет над водой паутина, изгибаясь и отсвечивая, цепляется за кусты, повисает на травах. По утрам, когда ложится роса, все окутывается росной паутиной, как туманом.

На гривах молчат леса. Днем и ночью там слышится шорох,— деревья скидывают листья. Только зеленые ели хранят память о лете да высокие сосны, стоя в сплошном полyme листьев, мужественно держат мохнатые кроны над догорающим чернолесьем.

Богаты краски золотой осени. Глядишь и не надивисься их буйству. Но вот где-нибудь на влажной луговине откроется скромная живинка зелени и дрогнет сердце, охваченное теплом.

Я всегда удивлялся и радовался упрямству зелени, живущей наперекор осеннему умиранию. И в этот день, проталкиваясь на резиновой лодочке вдоль болотистого, притененного лесом берега, ревниво выглядывал все, что среди осени хранило живое тепло лета.

Я охотился. В ногах у меня лежали две чернети и чирок. Два свободных дня было в запасе. Я мог позволить себе понаблюдать, помечтать, просто погреться на еще высоком и добром солнце.

В уютной заводинке, прислонив к камышу лодочку, я остановился, выпустил из рук на воду маленькие весла.

Слышно было, как озабоченно перекликаются на берегу дрозды. Прощуршала сухими крыльями стрекоза, села где-то у моей головы. Лениво бултыхнулся лещ или язь в прибрежных лопухах.

Легкие звуки только подчеркивали пустоту засыпающей земли.

Тихо, печально было на озере.

Вдруг в камышах что-то плескануло. Кто-то живой не хотел признавать стынущую над водой тишину. Плеск был сначала редкий и размеренный, как будто большое животное медленно входило в болото, ногами разбивая воду. Потом то, что было в камышах, шумно заполоскалось, долго с наслаждением отряхивалось. Так купается приходящий на водопой лось.

Руками нащупав весла, я осторожно подвинул лодочку вдоль камыша, с любопытством вглядываясь в глубину пестрых от солнца и тени зарослей. Мне хотелось подсмотреть сторожкого лесного великана.

Как же я был уязвлен в своих охотничьих чувствах, когда после терпеливого прокрадывания услышал мощный шлеп крыльев! Тяже-

лый кряковый селезень, оглушив меня шумом, брызгами и тревожным шварканьем, повис над камышами и тут же, отчаянно работая крыльями, полетел к лесу, как будто взбираясь по невидимому склону.

Мирная настроенность разрушилась миг. Я схватил ружье и, уже зная, что зря, что не надо, все-таки выстрелил раз и еще раз. Селезень поднялся выше, развернулся над лесом и пошел к солнцу.

На следующий день, не ожидая встречи с потревоженным селезенем, я все-таки заехал в знакомые камыши. И все повторилось: селезень шумно вылетел, я растерялся, опять стрелял и опять зря.

На третий день, почти не дыша, еле двигая руками, я мучительно долго пробирался по камышовым зарослям. Я был насторожен и готов был не растеряться, если бы селезень даже взорвался у моего лица.

Но селезень ушел и на этот раз. Затаившись, он терпеливо переждал, пока я продвинулся в глубь камышей, и тихо, без обычного шума, вылетел позади и сразу ушел на солнце.

Я был мрачен: восемь уток, пестрой грудой лежащих в лодке, потеряли для меня свою ценность.

Надо было возвращаться в город.

Всю неделю на работе и дома мои мысли возвращались к селезню. Я обдумывал тот единственно верный способ, который позволил бы подкараулить и точным выстрелом положить его на воду.

И мой день пришел.

Глубокой ночью я забрался в камыши, в то самое место, где дневал одинокий крякаш. Рассвета ждал долго, держа в напряженных руках ружье с уже взведенными курками. Когда в сумраке ночного неба слышался близкий шелест пролетающих уток, я с трудом сдерживал нетерпеливую дрожь в занемелых плечах.

Но вот в глубине как будто зажег кто-то тусклый фонарь, подсветил снизу стылую воду. В отсвете зачернели камышины, показал свой ровный округлый край водяной лопух.

Утки стайками уже возвращались с кормежки, но я еще плохо различал чистую заводину, где возвышалась кочка, прикрытая прутьями засохшего тальника. На эту плоскую, как табуретка, кочку, забрызганную белыми пятнами помета, с запутавшимися в ее травинках утиными перьями, должен был прилететь селезень.

Хитер был крякаш! Отдыхая на этой кочке, в густом окружении камышей, предостерегающе шумящих от самого осторожного прикосновения, он верно оберегал себя от всего опасного, что летает, бегаёт или плавает. От всего, но только не от человека!

Селезень появился в предрассветном сумраке, огромный от тени, которую он нес на себе.

Трижды облетев камыши, он начал гасить полет, часто и шумно подмахивая встречь полету своими сильными крыльями, и наконец тяжело опустился на воду.



Некоторое время селезень был неподвижен: он ждал, когда успокоятся поднятые им волны, и настороженно вслушивался в камыши, как будто спрашивал об опасности, готовый в мгновение взлететь и исчезнуть.

Я не дышал, не смел моргнуть, я знал: в эти секунды спугивает дичь даже неосторожное дыхание.

Камыши не выдали меня. Селезень успокоился. Он согнул свою гибкую шею, клювом подценил и подбросил вверх каплю воды, поплыл, не торопясь под сухой тальник. Неуклюжий, толстый, он ловко взобрался на свою кочку, стал чиститься, клювом расправляя и головой оглаживая перья на спине и на хвосте.

Это был старый селезень, с грузной и благородной осанкой. Мне казалось, я видел даже седину, дымчато проступавшую на его боках.

До селезня было шагов семь. Зная, что стрелять придется близко, я заранее положил в правый ствол патрон с половинным зарядом дробы. Осталось сделать привычное движение руками, и старый селезень, так долго торжествовавший надо мной, покорно ляжет на кочку.

Селезень почистился, стоял теперь в задумчивости, как будто решая, что ему делать. Потоптавшись, вскинул оранжевую лапу, почесал у себя за ухом. Потом развел крылья, как руки, и, как будто привстав на цыпочки, весь потянулся, как человек после сна. Мне даже показалось, он зевнул и с наслаждением улыбнулся своим широким клювом.

Я был поражен. Я никогда не видел, как улыбаются утки!

Селезень нагнул голову, недовольно посмотрел между лап, сощипнул под собой пук травинок. Я понял: сухие травинки мешали ему дышать, как нам порой мешают торчащие из подушки перья.

Старый селезень жил на своей кочке, как мы живем в своем доме после рабочего дня: приводим в порядок себя, готовим постель. И было в этом что-то значительное, что заставляло меня смотреть и ждать.

Камыши и кочка осветились. Селезень склонил голову набок, прикрыл круглый глаз, долго стоял так, блаженно жмурясь, подставив солнцу свою зеленую щеку.

Потом потряс головой, как бы отгоняя сон, переступил яркими лапами, прямо с кочки плюхнулся на зеркало воды. Изгибая шею, он головой стал накидывать сверкающую воду себе на спину, подрагивая напряженными крыльями, черно-белым хвостом, всем своим радостным телом. С каждым кидком он все больше раскачивался и, наконец, заполоскался, забился, поднимая волны, в азарте брызгая по сторонам, совсем как мальчишка, восторженно бултыхающийся в ванне!

Взобравшись на кочку, селезень снова стал охорашивать себя. Теперь он был весь освещен солнцем, и я видел его во всем изумительном великолепии.

Старый селезень уже готов был к брачной поре. Когда он двигал головой, темная, почти черная голова его в каком-то повороте вдруг словно вспыхивала яркой зеленью приречного луга, и снежно-белое кольцо над коричневой выпуклостью груди уже охватывало гибкую шею призывным ожерельем. Два бархатно-черных пера над хвостом были загнуты в колечки, словно кончики лихих усов. И даже голубые зеркалаца на его крыльях отливали густой томящей синевою весеннего неба.

Среди блекнувших камышей, желтой травы, оголенных кустов старый селезень был как живое упрямство весны.

Заплескались перед моими глазами струящиеся разливы вод, увидел я желтый пух цветущей ивы на согретых кустах, услышал призывный крик уток и жаркий трепетный отзыв селезней.

Я поднял руку.

В мгновение опустела кочка, только волны колыхнули неподвижность воды да дрогнул камыш, задетый уплывающим селезнем.

Наконец, все успокоилось, и светлая вода, и желтый на солнце камыш. По-прежнему чернела кочка под сухими прутьями тальника. Там было тихо. Там было пусто.

Но тепло осталось в моей душе.

## ДИВО

По утрам со мной разговаривает иволга.

Звонко, настойчиво спрашивает: «Диво видел? Видел?»

Голос иволги удивительно чист и силен, великолепное птичье контральто!

Поет она под окном, в зарослях ольхи, по-нашему — елошника, где сквозь стволы и листья проглядывает озерная вода и тянется к лесу широкая сенокосная луговина. Голос ее особенно слышен в эту пору, когда на воле вершина лета, и вчера скошенное на лугу разнотравье подсыхает, отдает ветру накопленные за лето ароматы; запах сена томит, умиротворяет тяжелую память души.

Голос иволги чуть ли не прямо в комнату: «В лес ходил? Ходил?!» Нет, в лес сегодня я еще не ходил. В лесу сейчас на сосновых грибах много черники, но эту маркую ягоду собирать я не люблю. А хороших грибов пока нет.

Солнце глядит из-за леса прямо на створку открытого окна, и стекло отражает его слепящее поल्या; сквозь закрытые веки я вижу золотые разливы света.

За рекой стучат в железку, колхозников созывают на работу. В бригады там, за рекой, видно, поставлена женщина: она всегда стучит в подвешенную где-то в ветлах железку торопливо и сердито,

как будто созывает не на работу, — на пожар; мужики обычно ленивее и в заботах не столь суматошны.

Когда иволга на минуту замолкает, я слышу простенький, мне кажется, какой-то сонный наигрыш пастушьего рожка и протяжный, пока еще спокойный голос самого пастуха; коровы сегодня не ревут, по холодку торопятся к траве.

С реки доносится ровное, глухое, будто из-под земли, гудение: то пароход повез колхозный народ на дальние покосы. И здесь, за елошником, в котором живет иволга, правят косы, ведут брусом по лезвию косы с одной, с другой стороны. На расстоянии звук до удивления точно повторяет последнее колено брачной глухарки песни. Охотники так и говорят: подходи к глухарю, когда он «точит».

Под зоревой певучий голос иволги сходятся люди на работу. Уже и с ферм за рекой слышится приглушенное расстоянием высокое гудение движков, и в деревне, за лесом, тракторный пускач дал размашистую очередь в утреннюю тишину.

Солнце чуть переместилось, даже через закрытые веки слепит мне глаза. Кроваво-красный огонь. Я отворачиваю голову к стене; идти мне некуда, моя работа на столе. Сейчас я сяду, наклонюсь над листом бумаги, и то, что было сорок лет назад, начнет слепить меня вспышками разрывов, надолго я оглохну от грохота орудий, сердце снова засочится своей и чужой болью, — я пишу о войне...

А за окном — иволга. Поет моя иволга! В летней мирной тишине, когда неподвижны в высокоме небе облака, она звонким настойчивым контральто спрашивает: «Диво видел? Ви-идел?!»

## В ТУМАНЕ

Влажная неподвижная навесь отделила меня от привычного мира: с трудом можно было различить высокий раздутый нос резиновой лодки, в ненадежном охранении которой еще с ночи я выехал на зоревой пролет поздних осенних уток.

Ровный шум и посвист тугих крыльев был отчетливо слышен, сытые утиные стаи, переговариваясь, пролетали над головой, — туман оберегал их от выстрелов. Как это бывает, обстоятельства смирили меня: я отложил ружье, поднял воротник, плотнее закутался в куртку и в терпеливом ожидании затих, понимая, что очень похож на сидящую, нахохленную, недовольную ненастьем ворону.

Через какое-то время вверху высветлило; обозначилось косматое в тумане солнце. Различимы стали не по-осеннему зеленые полосы камышей. Тугие стебли на выходе из воды золотились; золотились и редкие влажные листья на одиноких осинах, стоявших на болотных

кочкарах. Все как будто плыло в тумане, матово-лиловом внизу, серебристом сверху, где туман клубился облаками.

Белый, без единого сучка, сухой ствол березы облепила стайка скворцов; мертвая береза на глазах словно расцвела черными цветами. Крупный скворец примостился всех выше, на обломанной вершине, развернулся пестрой грудкой к светившему поверх тумана солнцу, встопорчил перышки, заскрипел, защелкал, засвистал, удивляя мир весенней песней.

Над скворцами появились дрозды; они летели навстречу солнцу, пересвистывались, ныряли, будто забавляясь, в туманный воздух, как в воду.

Осторожное шевеленье на полоске земли у камышей обнаружило длинноклювого серого бекасика с черной дробинкой невеселого глаза. Бекасик сутулился, зябко встряхивал развернутыми в веер твердыми перьями хвоста, переступал тонкими лапками. Я верил, что неуютно ему в осенней стылости болота, что ждет он только ясного неба, чтобы с облегчающей стремительностью рвануться вдаль, к спасительному теплу юга.

Туман напозн на камыши, дымкой накрыл бекасика, и содеялось чудо: у неясно проглядывающих, будто срезанных по низу камышей, оказалась большая прекрасная длинноклювая птица с крупной смородиной черного глаза, с ровными бурндучковыми полосами на голове, с рыжими веселыми крапинами по всей поверхности перьев. Только по клюву да по раскрытому веером подрагивающему хвосту можно было признать прежнюю маленькую птицу, — полупрозрачный туман как будто приблизил все видимое, что было за ним, и теперь я наблюдал маленького бекасика увеличенным во много раз.

Бекас длинным с узкими прорезами ноздрей клювом ковырнул под тонкими лапами землю, закинул к крылу голову, усталился глазом-смородиной в небо, где ярилось над туманом холодное солнце, что-то узрел, забеспокоился. Шевельнул крыльями, встопорчил рыжие кончики перьев, — от движения перьев словно мерцающий огонь пробежал по серой спине до задорно приподнятого хвоста. И вдруг, не по-птичьи чмокнув, как чмокает вырванный из грязи сапог, метнулся влево, вправо и, словно по крутой лестнице, устремился в открывшийся прогал голубого неба. Там, в вышине, крохотного, едва видимого, осветило его солнцем, и бекасик, на миг замерев, ринулся вниз, прорезая верхние истаивающие клубы тумана. Я услышал нежное дрожащее бляение. На какой-то высокой ноте дрожащий звук сошел на нет, бекасик, изменив полет, набрал высоту, и снова донеслось дрожащее призывное бляение — маленький серенький бекасик токовал!..

Много раз в дни поздней осени бывал я на охотах, но никогда прежде не внимал с такой пристальностью всей этой птичьей мелкоте, гонимой близкими холодами. И теперь мне казалось, что вся эта

свистящая, поющая, рвущаяся последней летней резвостью живность обманута осенним погожим утром; не пройдет и недели, как коварно и свирепо обрушится на нее близкая стужа зимы.

Слух уловил знакомый торопливый шум тугих крыл, в разорванных клубах тумана, в подсиненном небом окне, я увидел летящую на меня крякву. Я был на охоте, мои руки привычным движением подтянули ружье, вскинули навстречу.

Кряква падала, вытянув напряженную шею, и по тому, как падала она, я уже знал, что утка лишь ранена, что в той болотной неразберихе кочек, поваленных деревьев, камышей, где я был, наверняка она затаится и от меня уйдет. Так и случилось: на бледно-зеленой лужице, затянутой ряской, куда упала кряква, осталось лишь неровное черное окошко расплеснутой тяжелым телом воды.

Усталый, взмокший от поисков, я откинулся на тугой задник лодки, постарался забыть о неудаче, вернуться к созерцательному спокойствию, но душевные мои усилия оказались напрасными: выстрел как будто разрушил тот удивительный мир, в котором я только что был.

Ветер свалил туман. Предстал привычный моему глазу вид: отчужденное от земли осеннее солнце, мерцающая рябь недалекого озерного плеса, мертвые деревья среди окружающей меня зеленой болотной воды. Ствол сухой березы, еще недавно оживленный стайкой скворцов, стоял голо и косо, будто воткнули в кочкару толстый обломанный карандаш. Я видел все знакомое мне пространство озера, мог плыть в любой край, поднимать притаившихся уток, стрелять, но странное чувство неловкости мешало взять в руки весла.

Вспомнилось почему-то, как в прошлую осень я был на этом озере в ночь ледостава. Отблескивающую под луной тяжелую воду на глазах затягивало льдом, и в стылой тишине где-то на середине озера кричала не переставая подраненная утка. Бескрылая, она зывала, и жутко было слышать ее одинокий крик...

Долго я выбирался к чистой воде, на ветер. И звучал в моей памяти одинокий тоскливый утиный крик. Среди озера. В ночь ледостава.

## ШИШКАРЬ

Узнал я старого Шишкаря по случаю, а потом таким крепким влечением к нему привязался, что дай, как говорится, бог в такой привязанности к родней своей жить.

Чем расположил он к себе, сразу не ответишь. А как вспомню редкую его бородашку до пояса, седой, в какой-то поздней осенней желтизне, придавленный тесной шапчонкой и потому всегда спутанный на голове волос, взгляд по-детски пытливый и до того цепкий,

что и захочешь — не утаишься перед ним, так и потянет к старику душу почистить живым немудрящим его словом.

Жил Шишкарь далеко от городских сует, на лесном кордоне, малой семьей: он да хозяйка, Анна Александровна, Ньюшонка, как обласкивал ее, окликая, сам Шишкарь, невысоконькая, телом сухонькая, лицом морщинистым приветливая женщина с быстрыми движениями изработавшихся, но проворных рук. Да еще сын, последыш Никола, ко времени моего знакомства с Шишкарем бывший уже крепким расторопным парнем, исполнявшим по дому и по лесу многие отцовы работы. Две дочери, родившиеся прежде Николы, проживали своими семьями, одна — в неблизкой деревне, другая — в городе, и Шишкарь редко поминал про них.

«Девки, что птицы,— говорил он без зла, как о чем-то вполне соответственном жизни.— Птицы, они что? Порхнули из гнезда, следа не сыщешь. Подают с неведомых сторон голоса. А тебе ли тот голос в благодарение за хлеб да кров, за саму жизнь — распознаешь ли?!»

Вот Никола — откорень! Местом держится. Крепкого побега жду».

Никола был на особом у него учете. Помню, как-то в начале зимы, вытروпив зайчишку на дальних озимях, сидели мы в жарко натопленной хате, говорили в блаженной после долгой ходьбы неторопливости.

— Что человеку дано? — рассуждал Шишкарь, вплетая хваткими пальцами в початую уже корзину свободные концы лозин. Ни сидеть, ни говорить без дела он не умел. Выпростаёт рубаху поверх штанов, чтоб плечам было свободно, поверх рубахи бороду распустит и, то молчком, в думах, то в рассуждении с Николой или со мной, приделывает что в черед подошло. Клепки ли в бочонок собирает, валенок ли подшивает, улей ладит или косу отбивает, но видеть его без занятости не приходилось. Сейчас, памятьливыми руками вплетая, почти не глядя, лозины в нужное место, он рассуждал, в азарте разговора вминая в грудь бороду, шевеля раскосмаченными, будто разросшиеся болотные кочки, бровями:

— Что дано человеку сверх того, что есть у всего живого? Руки вот да ум. Да сколь-то силы каждому отмерено на прожитье. Тут все и завязано: чтоб ум и силу, тебе отпущенную, в дело перевести. Не в напраслинную для себя утеху, а в дело.

Так думаю: имя не запомнится, дело останется. Речь, понятно, не об этаких поделках,— потряс он корзинкой с не заплетенным еще верхом.— Этакое на ходовую потребу. Дело — оно выше. Дело, оно интерес многих обнимает! Отыщется дело — жить тебе в прочности. Не отыщется — так она, жизнь, в раскидку и уйдет! У меня дело наследственное. Эва, мое дело, за окошками, вкруг избы, на версты мерено. За день, может и обойдешь, и то, ежели в силе. Лес — мое дело. А лес, мил человек, на вечность даден. Земле без лесу не прожить,

потому как без легких и человек не жилец! Я-то помру, а лес — он будет. Будет! Ежели, конечно, в людях соображение не переведется... Шишкарь замолчал, долго выглядывал в лежащей на полу связке пруток, выбрал — бросил, другой — тоже не поладился. Сбросил с колен недоплетенную корзину, пошел к ведру пить. В разговоре он вроде бы подраспалился, хотя говорил он, я — слушал.

Лесные его заботы я знал. Не раз при мне он сокрушался, глядя, как пустошами лысеет земля от неутолимости нужд людских. Но и радоваться не радовался, когда луга и поля, изгрызающие лес со стороны деревень, окидывались бойким подростом, отбирая прежде прибранное людьми. В этом тоже был, по его рассуждению, какой-то умственный просчет. А всякий просчет рано или поздно оборачивался общей потерей, срамотой, как говорил Шишкарь. Срамоту же, даже самую малую, переживал он тяжело и жил в терпеливой надежде на то, что и у поля объявится свой хозяин, понимающий что и как, и куда следует двинуть дело, чтоб соблюден был и лесной, и всякий другой нужный интерес.

Мне всегда казалось, что своими рассуждениями Шишкарь больше метит в Николу, чем в мое молчаливое любопытство. И сейчас, глотая из ковша воду, он косил глазом на него, сидящего на корточках перед горящей лежанкой.

— Вот что, Николка, — завтра сам отправишься, нарежешь делянку у Горелого болота. У меня тут приделок набралось, у тебя, гляжу, что ни день, то воля! Совладаешь?..

Никола повернулся спиной к печи, засмеялся широко в молодой силе:

— Экая забота! Нарезу!..

Шишкарь, держа ковш у бороды, прижег его осуждающим взглядом.

— Гляди-ко! От леса брать ему не забота! Народ за тобой с топором пойдет, а дерево метить тебе!.. Широту-то души не кажи. Знать надо, что отдать, что оставить! «Экая забота», — передразнил он в сердцах. — Самая она, забота, и есть!..

Я давно улавливал за хитрыми стараниями Шишкаря не только обычное житейское желание удержать Николу при родительском доме. Шишкарь метил выше: он хотел передать Николу не просто лесную службу; он передавал ему дело, в которое вложена была его жизнь.

Шишкарь напился, рукавом отер рот, вернулся на свой низкий табурет к корзине.

— Я так считаю, — сказал он, ловко вытянув на этот раз из пучка нужный пруток. — Потомство — оно от природы, а дело — от человека. В природе непрерывность жизни сама соблюдается. Возьми дерево — в свой срок семя бросит, в свой срок подрост себя явит. Те же зайцы: хоть и косы, и пугливы, а три свадьбы за год отгуляют, три

приплода в зиму отправят. Человеку вроде бы тоже ума не требуется, чтоб род свой длить. Дурак и тот спротиворивает! Дело вот без ума не сотворишь. И чтоб непрерывность дела соблюсти, на то сильное разумение надо. Дело может с человеком кончиться. А как ему кончиться, ежели оно общее, людское, необходимое?..

Шишкарь рассуждал, хмурился, а Никола слушал привычные ему рассуждения с какой-то даже веселостью. Он понимал, куда клонит его батя, но был он в той задорной молодой силе, когда думать не хочется — жить хочется! И хотя был он вроде бы и не против принять на себя лесную службу, единственной эта служба ему не казалась: ходил он на гулянья и за десять, и за пятнадцать верст, видел, как живет село, знал, что в любых краях есть где приложить свой жизненный задор. Эта-то невзнузданная вольность Николкиной души и озабочивала Шишкаря. Взять-то возьмет Никола службу, да не сорвется ли с корней, когда пойдет расти своим умом? С того света не вразумишь!

— Азарт ведет Николу! — сокрушался Шишкарь. — Вчерась поднял тетеру у баньки, бегит к ружью. Эка горопь, эка хватка — дичь под окном! Ни труда, ни заботы!.. У нас-то, поживших да повидавших, в том ли забота, чтоб в кулак ухватить? А назавтра что лес отпустит?! Сколь ходишь, столь и зришь, где да какой дичины обитает, допреж чем к ружью приложиться. Не грех взять где густо. Грех с пустом лес оставить. Николке такое не в ум. Силы набрал, умом не облагородился!..

Никола смеялся, в смущении почесывал затылок, говорил примирительно:

— Ладно, батя, тетера еще не лес. Лесу-то не убыло!..

Тут уж Шишкарь не терпел, взрывался:

— Ах ты, едрит твою в корень! — кричал он. — Сколь тебе говорить, что лесная величина с муравьишка начинается?! Гляди у меня, Николка! — И добавлял в раздумчивости: — Понять не пойму — молодость то, либо времена такие?..

Любопытен был мне Шишкарь, любопытны были его отношения с входящим в возраст Николой. Безразлична была для меня судьба лесной округи, что находилась под умным доглядом старого Шишкаря. Говаривал он со мной охотно и много. Некоторые из его откровений и хотел бы я поведать.

## БРАКОНЬЕРЫ

— Браконьер! Что за чудо такое ныне явилось?! В довоенных временах о таком вроде бы слыхом не слыхивали. Охотник — да, рыбак — такого знали, хотя по деревьям не очень жаловали. Бывало,



так и говаривали, глядячи на дом: да у него жерди с крыши съехали, не иначе — рыбак... А чтоб браконьером кого наречти — такого на языке не было. Ныне же и по радио, и печатно — «браконьеры, браконьеры». Стон стоит, будто от комаря на болоте! И слово придумали, — от брака, что ли? Про брак на поле, в фабричной жизни давно шумят. А тут, вроде бы самой природе брак делают? Может, отсюда и прозвище?.. Не с того краю зашел?.. Ну, и ладно, слово-то, оно осталось!.. А вот сам, браконьер этот, откуда он-то ходом пошел? Будто пал по лесам пустили! У меня тут не шибко балуются. Все же от города вдалеке. Из местных, кто в силе на такое, мало по деревьям осталось. И все ж из многих прочих, которые землей живут-кормятся, есть которые и кидаются в алочности на природу. Оперился тут один под батькиным крылом. Из молодых, со школой ешшо не покончил, а шалить начал. Батька-то у него в соседнем лесничестве в лесных техниках был. Живой мужик, деловой. Да с пониманием не все ладно. Вроде бы хозяином большим себя признал. Что писано, то для других, для прочих. А тому, кто с им в родстве-кумовстве, он сам закон! Понимание такое у человека сложилось.

Обхаживаю как-то лес — выстрел! Прикинул: на озере. Как же это, думаю, покос не начался, утята пера не приняли, а кто-то уже ружьем балуется! Пока шел — спешил, ешшо бахнуло. К озеру вышел, гляжу, — человек в нашей форме. Ох, невзлюбил я того человека, с первова разу невзлюбил! Куртка расстегнута, петлицы зеленые с дубовыми листьями. Фуражка в руках, тоже с нашим отличием. Сам какой-то взъерошенный — рыжими усами, взглядом на меня воззрился, будто не человек, а леший перед им. А в камышах парнишечка в радостной суете ружьем вверх-вниз машет. Кричит: «Папа!.. Готово!..» За камышами, вижу, утка кверху брюшком покоится. И утятки отчаянно пищат, лапками воду буровят, врассыпную укрыться стараются.

— Что же, — спрашиваю, — за такой случай вышел, мать от детей отымать?..

Он глазами меня прошшупывает, понять торопится, что за чуда бродатая перед ним, да велика ли от его опасность?.. Так-этак прикинул, решил, вижу, миром дело свершить.

— Да вот, — говорит, — сын стрелить попросил. Малому разве откажешь?..

— Да, — говорю, — отказать малому трудно. А надо, ежели дело недоброе... — Смотрю без улыбки, сурово смотрю. Он усмехається, чудно усмехається, половиной рта. Рот-то широкой, вроде бы, как от лягушки подзаял, половина-то из-под рыжих усов вниз и загибается.

— Ты, — говорит, — старый, дикую утку жалеешь. Неужто человека она тебе дороже?..

— Нет, — говорю, — о человеке-то я и думаю. Что за сынок у тебя вырастет, ежели с малолетства руку на утку-мать подымать учиться?!

Парень-то углядел, что разговор промежду нас сурьезный,— такого ли зайчиного драпу дал: только треск да шлеп, да на спине рубаха пузыряем! Ну, думаю, ты еще и трус, парень. Плохи твои дела...

Годов пять с того случая минуло. И все тихо было по округе. Так, лесину-другую уволокут по нужде, не оформив как то следует. Но чтоб в разбой пуститься, того нет, не бывало. А тут, по весне, приглядываюсь — в четырнадцатом квартале, где шесть петухов среди бора токовало, разъединственный глухарь песню щелкает! Природа такого опустошения ни в жизнь не допустит. Завелся, думаю, лихой человек. Глухарь — птица древняя, ныне редко ее видишь. Знающие люди запрет на ее отстрел наложили. А тут слышу и на озерах в неурочное время кто-то пукает. Стеречь почал. Не ухватил. Браконьер-то, он хитрой. Он все в ум берет, всякую малость, всякий ход-выход. Он волка бродячего изворотливей! Ладно, думаю, погодим. Может, из наезжающих кто?

А в зиму весь остатный покой растерял. Собачка след нехороший открыла, — корову лесную кто-то решил. Голову, ноги в ельничек припрятал. Требуху под снег скоронил. Мясо, видать, на себе вытаскал. Кой-где след лыжный еще вился. Но дело свое хитро, под метель спроворил!.. Попрекаю себя: что же ты, старый, — брак природе делают, а «ньер» этот самый в нетях ходит?! Побывал я в Теребрино, где, как мне чуялось, тот лихой «ньер» зародился. Угадал — год назад к тому усатому технику сынок из армии вернулся. По срокам сходилось. Правда, и сомневался: все ж, парень отслужил, ума-разума не мог не подзанять от строгой армии. Так-то оно так. Да, ежели к уму совесть не привита, нрав изворотливый может верх ухватить.

По весне укараулил. Точно. Самолично идет, ходко, глухой стороной идет, и особой опаски не видится — час рассветный, лес кругом, след обеснеженная земля не держит. В руке ружье, за спиной — копалуха навязана, головкой на длинной шее с печалью болтает. Вот, думаю, и отцова наука, — матку, и ту не пожалел!.. Прикидываю: парень ладный, длинноногий, почнет бежать, не уловишь. В таком разе действовать надо, чтоб рта раскрыть не успел! Скорым шагом невидимо захожу ему наперед. Равняется он с ельничком, где я пребываю, а у меня уж все готово.

«Бросай оружие!» — кричу. Голосу силу даю и для верности гулкой заряд в воздух пуцаю. От неожиданности он ровно о стволы обжегся, кинул ружье, руки вверх тянет. Ружье я моментом подобрал. И тут уж вся сурьезность разговора на моей стороне!

Расположились на пеньках, ровно в креслах заседательских. В глаза гляжу, взглядом щупаю — что там в утайке: страх, стыд, злоба ли? Злобы не вижу — уже легче. Стыда тоже нет — это хуже. Страх есть, и вопрос в обоих глазах — что делать-то будешь? Взял я тут на себя грех, противу отца парня наставил. Говорю, отцов ум хоть для тебя

родной, а правды за ним нету. Он по алочности чувств пользуется возможностью, что от должности дадены. А того понять не осиливает, что всякая должность от людей и для пользы людей. И исполнять ее надо соответственно. Ты, говорю, родительской хитрости нагледелся, и сам жизнь с того начал. Утку при выводке убил — одиннадцать душ зараз у бела света отнял. Пять петухов с тока взял. А птицы этой наперечет. В великом-то лесу — наперечет! Теперь вот копалуху жизни решил, а с ней еще пять-шесть голов из рода унес. А птица эта вся под запретом, потому как люди все же о будущем беспокоятся!.. Ведь и коровку, спрашиваю, прошлой зимой не остановился ухватить?.. Спрашиваю осторожно, а, гляжу, побледнел. Вот и посчитай, говорю, какого ты браку природе накидал. В браконьеры подался. А это ж воровство! Хужее даже воровства, потому как ты общее добро себе прибираешь, а свое из своей же души выкидываешь. Даю тебе срок малой, а может, и долгой — до другого разу. В толк не возьмешь, своим умом себя не образуешь — не со мной тебе говорить. С законом говорить будешь... И понять, парень, пора — оружие добро служить должно. Сказал и бросил ружье ему на руки. Доброе слово делом решился укрепить...

— И что же? Укрепился тот парень? — спросил я, не очень веруя в исход доброго поступка Шишкаря.

— Доподлинно не могу ответить, — в хмурости сказал Шишкарь. — Может, в другие стороны устремился. А в моем крае боле его не выдавал.

Ловким движением он завершил круглую, еще зеленью отсвечивающую плетенку, отмахнул ножом лишний конец лозы, бросил в угол к десятку других корзин. Поскребывая в распахнутом ворота проторной ему рубахи тощую стариковскую грудь, сказал раздумчиво:

— Страсти гудут, разумения не хватает! Каждому довольства хочется. А оно, может, не в великом куске? А?!

## ПРИТОПТУХ

— А скажи-ка мне, как ты понимаешь такие слова: что в природе, то в народе?.. — Шишкарь глядел себе под ноги, но был весь на слуху. Шли мы лесом к неведомому мне озеру, где в нетронутых глубинах ворочались огромные, по выражению Шишкаря, зеленеющие от старости и злости жуки. Палило солнце. Спину и плечи приходилось нахлестывать веткой, отбиваясь от гудящих, пикирующих на нас слепней, и не сразу я вникнул в слова, казалось, безразличного к жару Шишкаря. Шишкарь же и впрямь держался невозмутимо даже в атакующем нас рое мухорья, шел ходко, каким-то скользящим, почти неслышным шагом, ухватив у плеча брезентовый ремешок легонького одноствольного ружьишка; похоже, его мысли были для него важнее жары, слепней и всех прочих дорожных неприятностей.

Ответа он не дождался, заговорил сам:

— Я так думаю: сколь человек ни выглядит у природы, а мудрости, что в ней, не превосходит. В природе все устроено. Будто кто следит, чтоб того, другого, всякого в равности было. И чтоб никакая тварь в силе лишку себе не прихватила. На моей памяти, перед войной ешшо, червяк-листогрыз невиданно расплодился, палом шел по чернолесью. Середка лета, а березы без листа. На десятках верст ни дерева — скелеты печалются. Будто в январской остуде! Видишь-знаешь, что за червяк на лес пошел, зришь, как нужный дереву лист, ровно огнем, пожирается. А управы — никакой. Хоть криком кричи, хоть ревмя реви. Срамота да и только. Бедствие!..

И что ты думаешь? Где, чего сработало — бумаги о том ниоткуда не спустили. Только зрю, червяк вроде устать стал. Ход не тот. Накатится на ешшо зеленый лес, приостановится. Опять двинет, на больше приостановится. Чую, лист зеленой поперек горла ему встал. Хожу, дивуюсь, — не живой червяк! По земле его сплошь, будто пуха тополевого, намело. С веток на паутинах столбиками свисает. И все — без шевеленья.

Как такое понять? Какая такая сила на червяка нашлась?! Ровно на вехах: одну тарелку вниз утянуло, другая тут же тяжелить себя почала, пока вес не сравнялся. Кто такую мудрость в природе установил?! Тесно среди лесов и вод, а у каждой живности — свое место. И нет злу-напасти расплоду.

А в народе что? Худого, доброго — всякого хватает. А закону на общий лад нет. Так вот — нет и все!.. Думаешь, умом человек раздобылся — так уж выше природы встал? Нет, мил человек. Сосна, вон, тоже вроде выше земли, да из земли. Из нее, матушки, вырастает.

Ты вот что скажи мне: какая по самой первости забота у людей?.. Все та же, что у всякого живого, — об еде-питье да потомстве. От природы тут человек не шибко отшагнул. Думать-соображать, правда, научился. Умом да руками всякого себе натворил. Да вот он, в гладкой доске сучок: всегда ли у человека ум-то к добру нацелен?

Небось, сам не без горя прожил. Ведаешь, как лихо бывает, когда чужой ум во зло тебе оборачивается. Тут бы и явиться неминучей управе на такого людишко, что у другого жизнь, ровно тот червяк лист, изгрызает. Ан нет. Закон есть, управы нет. Потому как у того людишко ум изворотливой, хитрой ум, хитрей всякого закону!..

Шишкарь, доселе невозмутимый, вдруг торопко взмахнул рукой, пришлепнул по своей морщинистой, в глубоком загаре шее.

— Ах, ты, тварь! — воскликнул он, ухватив помятого шлепком, но рвущегося из цепких пальцев бычьего слепня, похожего в злом своем гудении на всегда вызывающего содрогание вершкового шершня.

— Без чужой крови не смогаешь? В таком разе и жизни тебе нет!..

И тут я увидел, как Шишкарь, всегда оберегавший даже паутинные тенета на устах, откулупнул ногтем зеленоглазую голову, отбросил обезглавленного слепня в траву.

— Все укладывается в уме! А такому внять не могу,— на какую такую надобность природа муху эту сотворила? Комар хоть на корм стрекозе да прочей болотной живности. А эту пустую гуделку даже птица не берет! Никчемная тварь. Притоптух — другого имени нет!..

Как ни был я издерган осатанелым мухорьем, отуплен пополу-денной жарой, а непривычное слово ухватил и тут же спросил.

— Притоптух-то? — Шишкарь глянул на меня, как малого, но пояснил: людишечко этакой вот, вроде бы доской ударенный, голова в плечи вогнана. Беда не в том, что малой да широкой. В том беда, что у притоптуха ум хитрой, без малой даже совести. Ум хитрой, в сердце зlobа!

Шишкарь вдруг замолчал, шел какое-то время помрачневши, потом себя пересилил, сказал:

— Был такой. Когда ешшо в деревенском миру обитали. Отцу поперек судьбы вышел. Нам бед набедовал. Тебе, знаю, места наши приглянулись. А приглядел не я. Отцова приглядка. Хотя по нужде в леса подался, почин на житье сделал как то положено. Из многого ходил-выбирал. Поначалу воду искал. Жилу родниковую. И чтоб обязательно мылкая была. Жесткая вода не для долгой жизни. А отцу, и после всех бед и горького проживания, все одно, долгого и праведного устройства хотелось. Про нас думал, народившихся не по крестьянскому его ожиданию: я — на зачин, да четверо девок не в отраду. Земли-то на девок не давали!.. Отец хоть в надрыве уже был, а лезную домину, как и все прежние, самолично ставил. По бревнышку, по дощечке. Ровно бочонок — плашку к плашечке собирал. В надежде был, что оторвался от зла на остатный срок жизни. Знать-то надо, мил человек, каково в миру ему было. Четыре дома ставил, все четыре огонь прибрал. Отец-то, как колхозы пошли, первым записался. За справность да честный нрав ему мирское хозяйство доверили. За общую нужду без отступа стоял. Свою завсегда отодвигнет, к чужой приникнет. А как оно бывает? — сам светел, да зlobа в чужом глазу твои же добрые дела чернит.

Будешь слушать? Аль неумоготу?.. Будешь, так скажу, тебе впрозапас.

Был в миру мельконький по душе людишко. Имя, фамилию имел. А звали — Притоптухом. У власти был в услужении. По налогам. Ходил-собирал. Каким-таким абатуром на виду у сельсоветчиков оказался, то неведомо было. Но власти лишку себе начерпал. Налог с подворья, будто шкуру, по живому сдирал. Ни отсрочки, ни жалости. До бабьих слез, до мужиковой мрачности доходило. Боялись его. Завидют в улице, даже сказать тебе, не самого, тень от его — окна скорей затворяют, тряпицами задергивать, замки второпях на крыльцах навешивать. Да проку что — от зорящего глаза разве отчураешься!

Через двор, через повесть проникнет. Голосом едва слышным, будто хворым, свое дело свершит. Избу опечаленную, а то и зареванную с видом скорбным в тишости покинет. Этаким вот слепнем не гудел. Нет, не гудел. А жалил в усмерть. Сельская-то власть, как нам виделось, была не без разума и понимания. Да ведь стадо-то не сам пасешь, через пастуха коровенок к траве гоняешь. А пастух,— он-то разный, ой разный! И света луч кривулит, ежели через кривое стекло падает. Думалось-терпелось: установки от власти исполняет. Так нет: он и власть себе приспособил!

На покосах, бывало, из общего пригребет. Не из своих скирд снопов прихватит. Рыбешку с мирского озера заневодит, на лошади в городской базар доставит. Что не узрит, к тому и лепится. И все себе в корысть...

Отцу такое его действовање, прямо сказать, воперек совести легло. Наперво объяснился с глазу на глаз,— и про мирское, и про личный интерес. Никакого повороту! Тогда на миру слово сказал.

И что ты думаешь? Окорот алочности сделали, а злоба в его уме пуще взросла. Как счас помню: осень заступила, гуси уж зиму гогочут. У всех в домах припас к холодам сделан. А мы погорельцами по миру пошли. Зиму людской милостью жили. К другой зиме отстроились. Обжить не успели,— опять дом запалило!

Занемел отец. В леса ушел. Зиму лес возил. С весны сызнава за топор. Третий дом воперек судьбе поставил!.. Знал-понимал, от чьей руки красный петух к нам жаловал. Дума была миром с Притоптухом поладить. Как то ни было, к новоселью пригласил. За столом ни вином, ни едой не обнес. Взглядом не укорил. Ждал-верил: совесть отродится, зло от ума оттеснит. Людишечко же тот широкой, будто доской по голове ударенный, ел-пил, на меня, уже мужика, дивился, девок, в подрост идущих, оглядывал. Из дома во хмелю уходил, за хлеб-соль до полу кланялся. И вот каковое запомнилось: лик свой сытой оглаживает, к порогу нетвердым шагом подается, отец, поднявшись, о стол тяжко опираясь, глазами провожает. И взгляд тоскливой, надежинки ни даже малой не светит. И что ты думаешь? Года не прожили в покое. Под осень и тот дом спылял...

Глядеть на погорелье сердце не смогает. На отца — и того страшней: от лица до лаптей будто обуглился. И что хуже пожарица всякого — в миру защиты не сыскал. Вот дело-то: отец — за людей, люди — за себя. Глаза отводят. За себя страшатся — переживают.

От горя-обиды подался отец в лесники. Место, где дом поставили, кордоном нарекли.

Отца лес поуспокоил, да матушку не поднял. Обезножела наша матушка от печалей. Свой погост в память ей зачали. Обход, взятый от лесничества, отец не оставил. Дело справлял как то положено. На мужиков, что по нужде в лес заворачивали, выходил без зла. Больше вразумлял, нежели законом строжил. Девки, хотя и не женихались,

а по природной своей данности мужиков по ближним и дальним деревням себе отыскивали. При отце я да сестрица Марьюшка остались. На кордоне без вторых-третьих рук прожить не осилишь.

Все бы в лад, да не все. Все бывает ли?.. Притоптух тот рыжий и до кордона добрался!

Ты вот скажи: у слепней, у тех же комарих, что за тобой неотступно лепятся, природная нужда — без чужой крови потомства не выродят. А у Притоптуха что за нужда? Другому человеку судьбу пресек, от миру людского отбил. Матушку извел. Что ешшо понадобилось?!

К дому не подобрался, собаки не пустили. А баньку зажег.

В таком разе уже все: жил бы миром, да терпенью конец. Ежели общество против зла не смогает, человек к своей силе вызывает. Тут уж природный закон в действование вступает.

Далее своим ходом пошло. Когда один возле другого бродит, встрече не миноваться. Свиделись. Вышли друг на друга, как говорится, без свидетелей.

Так-то вот, мил человек. Ежели Притоптух, да еще шатуном стал — чем его остановишь?!

Шишкарь вопрошающе глянул, пошел ходче, угловато выставив вперед левое плечо, с какой-то упрямостью пришаркивая по разросшейся в коляях жесткой траве резиной сапог. По-прежнему донимала муха. Крылатое воинство плотно охватило нас гудящим роем, и Шишкарь уже в явном неодобрении внимал усиливающемуся гуду. Неожиданно он сошел с дороги, мелконькими шагами стал спускаться в низ укрытого лесом оврага. У бочажка с прозрачной коричневой лесной водой приглядел бугорок, ловко подвернул под себя ногу, сел на нее. В молчании ожидал, пока я пил, омывал лицо, отходил от жары и мух. В затененности, в прохладе я пришел в себя и, как это обычно бывает, мое внимание к тому, что поведал Шишкарь, обострилось. Чужая судьба обозначилась во всей своей трагичности. И я терпеливо ждал, когда мне ее доскажут.

Шишкарь, приклонившись, помял свою жиденькую бороденку, с уже прожитой горечью сказал:

— Такой поворот, мил человек, вышел. Возвернулся отец из лесу, желваки торчат, будто камни под щеки загнал. Напиться не мог, ковш по зубам бьет, а зубы немоготу раздвинуть.

На третий день позвал меня в обход, говорит: «Все, Иван, Антипа-Притоптуха своим судом осудил. Ежели к ответу меня призовут, ты с этого места — никуда! Твое дело лес. Здесь тебе жить...»

Что получилось-то, мил человек! Взял отец в голову, что порешил Притоптуха. И от тяжелой такой думы вся остатняя его жизнь вниз пошла. За нелюдское свое действование исказнил, извел себя батюшко. Дух надорвал. На второй год, по весне, помер.

А дело диковинно обернулось: в живых Притоптух оказался! В миру объявился, окосевши и шибко поломатый. Без голоса долго

бедовал — сипел, а молвы не было. Такову весть люди донесли. Оно ведь как: зло и бьешь — не убьешь, на добро живой воды не напасешься!..

С тех давних пор я две войны вышагал. Тридцатый год сызнова на кордоне. А Притоптух вот тут — занозой сидит! — Шишкарь крючком пальца постукал себя по темечку. — Думаю: должно мне знать, каково судьба им распорядилась. Не стерпел, по прошлому лету добрался попутками. Селом походил. Окрест глянул, вовнутрь. Живут не в пример давнему. Заботы, сказать тебе, те же. А вот труды горбину не тяжелят. Машина на машине. Одна громаднее другой, — земля не держит! Доить и то рук не надо. В деньгах нужды не видать. Я тебе так скажу: в пузо деревня стала жить. В передых ушла после всех прежних лихостей. Такой мой догляд нынешний. Но что всего горше — Притоптух гнездо себе в этой благодати увил. Не дом — икона в окладе. Сам за палисадом на голубой лавочке почивает. Огородишко широкой, подале соседского плетня утянулся. Пчелки над ульями. В подворотнике кабанчик хрюкает. И лик у самого — святой. Безгрешный лик!

Вот и думается, мил человек: зла в природе нет, место всему расписано. Отчего ж меж людьми зло объявляется? Ум ли без совести в силу взшел, общий лад порушил? Или, супротив того, силы уму не достает, чтоб, как то положено, общий лад сотворить?.. Не то? Не так говорю? А может, что-то и глядится?!

Шишкарь натянул на голову кепчонку, снял с сучка ружье.

Где-то там, наверху, в истомляющей жаре гудели рои жаждущих крови мух, и я не мог отрешиться от желания хоть немного задержать — в прохладном затишке.

Но подниматься надо было. Надо было продолжать путь.

## ИВАН САВЕЛЬЕВИЧ

Ночь за окном была теплой и влажной. Небо еще туманилось облаками, освещенные окна в домах районного городка и лампочки на уличных столбах после дождя казались ярче.

Далеко в темной степи протянулись навстречу друг другу прямые лучи прожекторов, донеслось с железной дороги басовитое гудение электровозов. Вместе с запахом намокших трав долетал сюда, в окно второго этажа, запах спелых хлебов. Мне всегда казалось, что в пору уборки хлеб имеет свой особый волнующий запах.

Я сидел на привычном месте, у окна. Иван Савельевич стоял за своим рабочим столом, говорил, не торопясь.

В кабинете, привалившись к узкому длинному столу, плотно, как зерна в колосе, сидели наши районные степняки в распахнутых



пиджаках, с расстегнутыми воротниками запыленных рубашек, похуудевшие.

Люди еще не остыли от страдных забот. Казалось, медленно исходит от них жар полуденных степей.

Совещание было будничным. Будничным выглядел и сам Иван Савельевич. О делах в районе он рассказывал сдержанно, не подшучивал, как обычно, мы все видели, что и сам Иван Савельевич устал за эти дни.

Положение с уборкой урожая мне было известно, и я пытливо приглядывался к самому Ивану Савельевичу. Фамилия у него была простая — Банов. Таким же простым и ясным казался мне сам Иван Савельевич. В нем все было, как говорят в народе, в аккурат: и рост, и крепкие плечи, и в меру крупная, рано облысевшая голова с открытым лбом, который и хотелось бы назвать спокойным, да, пожалуй, и не назовешь — его открытый лоб всегда был в напряжении, жил как бы одной жизнью с внимательными, чуть насмешливыми глазами.

Иван Савельевич заметно косолапил, походкой напоминал старого кавалериста, хотя в кавалерии никогда не служил. Свою рабочую жизнь начал трактористом и долгое время занимался машинами, пока не выдвинули его на партийную работу.

Косолапость придавала Ивану Савельевичу какой-то домашний вид. Я не раз наблюдал, как она действует на людей.

Бывало, разговор с собеседником обострялся. Иван Савельевич молча выходил из-за стола и, расстегнув пиджак и заложив руки в карманы брюк, начинал ходить по кабинету. Склонив к плечу голову, он ходил, косолапя, и молчал. Замолкал в недоумении и раздраженный собеседник, хмуро, удивленно приглядывался некоторое время к домашнему виду Ивана Савельевича, потом вздыхал и усаживался в кресле поглубже. Беседа возобновлялась уже в спокойном и доверительном тоне.

Двух вещей Иван Савельевич не выносил совершенно: угодничества (об угодниках Иван Савельевич говорил: «Смотри, кожа на них лопается...») и внутренней разболтанности. Стоило ему заметить одно из этих свойств в ком-либо, располагающая домашность Ивана Савельевича исчезала вмиг. В умных глазах появлялась досада, черты лица, в общем мягкого и привлекательного, обозначались резче, и сам Иван Савельевич как будто твердел. Если собеседник не улавливал перемены, Иван Савельевич сильные свои руки выкладывал на стол перед собой и начинал медленно мять то одну, то другую. При этом он смотрел на собеседника в упор. Это означало, что возмущение Ивана Савельевича достигло предела и терпению приходит конец. Беседу он тут же обрывал, не забывая о том впечатлении, которое унесет с собой незадачливый говорун.

В районе Ивана Савельевича любили, кое-кто побаивался, но уважали все.

Редактором районной газеты я был уже шесть лет, и за это время, не такое уж легкое и спокойное, узнал разного рода руководителей. Наблюдая Ивана Савельевича, я часто вспоминал его предшественника, всемогущего Кочергина.

Кочергин был намного заметнее: выше ростом, тоньше в чертах лица, увереннее в походке и движениях. Приезжая в колхоз, он мог в своем великолепном драповом пальто прыгнуть в силосную яму или с вилами в руках показать, как надо запаривать на корм солому. Он умел говорить и волновал своими речами. Первым в области рапортовал о сдаче хлеба или о завершении пахоты, или о принятых высоких обязательствах. И район, если не гремел, то по крайней мере шумел. О Кочергине говорили, писали, но не я один чувствовал, что колхозы нашего района, как усталый человек, больше стоят, нежели идут. Сколько я знал Кочергина, я ни разу не слышал, чтобы он заговорил о будущем. Будущее для него было такой же абстракцией, как небо над головой.

Чем дольше Кочергин руководил, тем больше беспокоились мы, старые районные работники. Уходили в незаметность люди думающие, упорствующие в своих убеждениях. Поднимали головы руководители-однодневки, которые не хотели и не умели заглядывать вперед: был бы Кочергин доволен, а уж они-то возьмут свое!

Кочергин был властен. И все-таки Кочергина изгнали — на партийной конференции его забаллотировали.

При Иване Савельевиче о нашем районе говорить перестали. В областных сводках район съехал вниз и занял незаметное место в группе средних. Недовольных таким оборотом дела Иван Савельевич разубеждать не торопился, а нам, членам райкома, сказал: «Лучше ногами стоять на полу, чем руками цепляться за потолок».

Иван Савельевич был жителем местным, любил степь, мечтал сделать свой район богатым. К мечте он шел трудной и нескорой дорогой через сердца и разум людей. Неизбежные в работе споры не вызывали в нем гнева; он был честным противником и умел с добродушием принимать достававшиеся ему полемические синяки.

Мне особенно нравилась эта черта в Иване Савельевиче. И вообще весь он, такой ладный, простой и по-умному хитрый, был для меня как хороший день — я охотно работал рядом с ним и готов был наблюдать его часами. Таков был наш Иван Савельевич.

Говоря честно, я не верил, что он мог быть другим.

И вот эта неожиданная история с Булановым!..

В конце совещания, когда по кабинету уже ходил этакий завершающий шумок, Иван Савельевич устало провел ладонью по своей выбритой голове и сказал, стараясь придать голосу будничность:

— Еще один вопрос: утром звонил Селиверстов, району спустили дополнительный план по хлебу — сорок две тысячи пудов.

Людей будто окликнули на ходу: все замолчали, повернули к Ивану Савельевичу лица.

Иван Савельевич почувствовал неожиданную тишину, пошутил:

— Перед грозой, что ли?..

Шутку не приняли. Иван Савельевич нахмурился, сказал строже, чем требовалось:

— Думаю, сильные колхозы не пострадают, если сдадут еще по семьсот центнеров...

За окном на мокром тополе с листа на лист шлепали капли: шлеп-шлеп... Люди молчали.

Иван Савельевич заставил себя улыбнуться.

— Что, сомнения есть? — И повел рукой, приглашая.

Отозвался председатель «Степной коммуны» Панарин, низенький, черноволосый, лицом и шеей черный, как распаханная степь. Не поднимаясь с места, он с приглушенной обидой выкрикнул:

— Что тут говорить, надо, так надо!.. — И от плеча к столу махнул рукой, как будто на своих сомнениях поставил точку.

Тут и поднялся Буланов, председатель чапаевского колхоза. Некоторое время он стоял молча. Его светлые, выгоревшие на солнце брови сошлись, лоб, широкие скулы, твердый подбородок — все было в напряжении. Наконец Буланов медленно сказал:

— Не можно, Иван Савельевич, еще семьсот центнеров сдать. Расчеты наши порушатся...

Сказал и замолчал.

Иван Савельевич исподлобья, внимательно смотрел на Буланова.

— Не могу понять тебя, Семен Андреевич: ты отказываешься сдать хлеб?

— Отказываюсь, Иван Савельевич.

В кабинете стало еще тише. За окном с листа на лист падали капли. Мне казалось, теперь все услышали и удивленно слушают их не к месту радостный разнобойный шлеп.

Иван Савельевич навис над своим столом. Руки его порывались одна к другой. Он сдерживал их, чтобы не выдать накаленных чувств.

Придавив пальцами зеленое сукно стола, Иван Савельевич глухо и размеренно сказал:

— Повторяю: Селиверстов просил сдать по нашему району дополнительно сорок две тысячи пудов хлеба. Вам ясно, Семен Андреевич?

Буланов помялся, не сразу решаясь ответить, потом угрюмо, но твердо посмотрел на Ивана Савельевича.

— Значит, поправить надо Селиверстова... — Он сказал это негромко, но услышали все. Буланов помолчал и добавил, как бы извиняясь: — Я, Иван Савельевич, не только за свой колхоз... А уж неладно что — вам виднее: должность можно передать, заместитель у меня крепкий... Все же и вам подумать не вред... А в целом, извините...

Он ушел, осторожно ступая, чтобы не нарушить стоявшую в кабинете тишину.

Когда Буланов аккуратно, без стука, прикрыл за собой дверь, Иван Савельевич открылсто спросил:

— Вопросы есть?

Вопросов не было.

По утреннему холодку я возвращался из колхоза имени Чапаева. Подвозил меня бригадир Попов, Василий Иванович, мой давнишний приятель. У Попова я всегда останавливался, когда ездил по району.

Василий Иванович был человеком чутким, он подметил мое состояние и не тревожил разговорами. Обмотав вожжами руки, молча управлялся с молодым жеребчиком. Было пасмурно и на редкость для открытой степи тихо. Мы ехали быстро, пыль, поднятая бричкой, уходила назад и висела над дорогой, не оседая.

В колхоз я ездил по делу Буланова. После того, что произошло в райкоме, я не мог думать о Буланове иначе, как о руководителе обреченном. Но Буланова я застал по-прежнему хозяином колхоза: он был в поле и руководил переброской комбайнов на просо. Здесь, в степи, он держался, как в своем доме: говорил спокойно и властно, шагал крупно, жесты его были широкими. Увидев меня, он нахмурился, но тут же подошел, протянул руку, посмотрел мне в глаза с едва различимой усмешкой. Этого взгляда было достаточно, чтобы почувствовать: Буланов от своего не отступил.

Вечером мы с Булановым сидели у него дома. Стол был накрыт скупо: кроме двух стаканов чая, сахарницы и тарелки с пирогами, на белой скатерти ничего не было. Я понял Буланова — в колхозах представителей райкома встречали с большим почетом. Даже пепельницы в доме не оказалось: вместо пепельницы Буланов поставил на скатерть старый поршень от мотоцикла.

Поговорили мы о черных бурях на Украине, о целине, согласно обсудили положение на Кубе и в Африке. Подошли к делам нашего района. Год был сухой, но урожай почти все хозяйства собрали выше среднего и заметно больше, чем соседи. О взятом урожае в колхозах говорили с какой-то уважительной радостью.

— Без Ивана Савельевича не собрали бы, — убежденно сказал Буланов. — Иван Савельевич людей разбудил! — Он смело, даже дерзко посмотрел мне в глаза: я понял, он не хотел, чтобы я заподозрил плохое. — Любому скажу: Иван Савельевич — это тебе не Кочергин-артист!.. И все ж таки... — Буланов медлил, как бы раздумывая: доверить или не доверить мне свою беспокойную мысль, потом сказал так же убежденно: — Одного не можно понять: зачем Иван Савельевич не от себя говорить стал? Ну, зачем он: сердцем не поверил, а приказ Селиверстова передал?! Меня ровно корова шершавым языком лизнула. Такой мужичище, умный, сильный, а...

Буланов сидел прямой, высокий, смотрел на меня своими горячими

глазами, как будто обжигал. Он словно не понимал, как серьезно его собственное положение. Я не мог не чувствовать симпатии к этому прямому, бесхитростному человеку и пытался его вразумить:

— Не обвинять ты должен — тебе самому едва ли удастся оправдать свой, надо прямо сказать, непартийный поступок...

Но Буланов только упрямо щурил свои горячие глаза: он, как боец, поднявшийся в атаку, перестал кланяться пулям.

Я уезжал от Буланова и — стыдно признаться! — не знал, что буду докладывать Ивану Савельевичу. Но холодок я чувствовал у своего сердца. Перед моей поездкой в колхоз у нас было неофициальное бюро. Говорили о поступке Буланова. Защитников у Буланова не было. А секретарь по пропаганде Зуев сказал: «Если об этом узнает Селиверстов!..» И прижал дрожащий кулак к груди. Его молодое лицо сморщилось, живые, всегда настороженные глаза закатились под лоб. Было ясно: если Селиверстов узнает о Буланове, первым умрет Зуев...

Зуев вызвался лично расследовать антипартийное дело предколхоза Буланова. Иван Савельевич тактично отвел предложение Зуева, попросил съездить в колхоз меня.

Своего отношения к Буланову Иван Савельевич не определил. Но я три года работал с ним и знал: Иван Савельевич беспощаден даже к друзьям, если они забывают о партийном долге...

Хмурая степь как будто отворачивалась от дороги. Желтые скошенные поля, похожие на огромные стриженные затылки, сменялись черными полосами поднятой зяби. Из оврагов выглядывали взлохмаченные дубки и тут же прятались, словно напуганные ребятишки.

Неопределенность собственного отношения к как будто бы ясному поступку Буланова угнетала.

Я взглянул на Василия Ивановича. Попов заметил мой взгляд, обидчиво поджал серую растрескавшуюся губу. Чмокнул на жеребца, не глядя на меня, сказал:

— До города рукой подать. Неужто и сказать нечего?

Он был обижен моим молчанием.

— Что же я тебе скажу, Василий Иванович?

— Скажи вот, что с нашим Булановым собираетесь делать?

— Буланову вашему попадет, — сказал я строго.

Старик поглядел на меня и отвернулся.

— Так... — помолчав, протянул Попов. — Значит, попадет?.. Смотрю я, скорые вы все на расправу... А ты знаешь, что наш колхоз рассчитался по всем планам? Пшенички сверх обязательств сдали две тысячи центнеров? Без погоняльщиков. Сами! Пораскинули и — сдали. Ты это знаешь?..

— Знаю, — сказал я как можно спокойнее. — А вот потребовалось еще семьсот центнеров, и уперся ваш Буланов!..

Василий Иванович усмехнулся.

— Экий ты... Потребовалось! А зачем потребовалось-то? Чтобы там, в области, одежкой из нашего хлеба худые места прикрыть? Про городскую жизнь не скажу, что понимаю. Но неужто и в городе так: один завод план не дотянет, другой за него продукт сдает?.. И директоров тоже по-партийному накачивают, ежели за себя выполнил, а за другого не сдал?.. Загадочное, скажу тебе, положение!

Я молчал. Замолчал и Василий Иванович. Он как будто перестал замечать меня и сосредоточил все свое внимание на жеребчике и на дороге.

Молча доехали до города, недовольные друг другом. Высаживая меня из брички, Василий Иванович проворчал:

— Народ вы думный, а думать боитесь. Будто не при Советской власти... — Он молча пожал мне руку, пустил жеребца рысью по улице.

Я не сразу ушел в дом. Было такое ощущение, будто меня встряхнули и оставили стоять на дороге.

Я сижу в жестком полукресле перед столом Ивана Савельевича и выжидаю. Иван Савельевич медленно прохаживается. Пройдет по старой, потертой ногами ковровой дорожке, у двери постойт, склонив голову, так же медленно пройдет обратно. Левая рука его в кармане брюк, правую он держит у подбородка, пальцами изредка оглаживает выбритые скулы. Вид у него совсем домашний: пиджак висит на спинке стула, ворот рубашки расстегнут, рукава засучены.

Кабинет освещен настольной лампой. Собранный под матовым абажуром свет, тишина располагают к беседе. Хочется, чтобы Иван Савельевич сел, с азартным огоньком в глазах повспоминал о лещах, которых он с завидным умением вытягивает из нашей речушки Колтубанки.

Однако к вечернему разговору Иван Савельевич не расположен. Я вижу это по его сосредоточенному взгляду, по нервным движениям пальцев у подбородка.

Ивану Савельевичу я рассказал все. Не умолчал о разговоре с Поповым, о горячей исповеди Буланова. Иван Савельевич сам всегда требовал, чтобы в каждом поступке человека была убежденность. Теперь, хочешь не хочешь, пожинай то, что взрастил.

Только теперь, рассказывая обо всем Ивану Савельевичу, я начал понимать Буланова — беспокойство Буланова было беспокойством за Ивана Савельевича.

Сила нашего Ивана Савельевича в том и была, что ни одно дело он не исполнял слепо. Все, что надо было делать, он сначала принимал в свое партийное сердце и, если принимал, тогда уже требовал от людей исполнения. Вот за эту зрячую, проверенную сердцем убежденность в каждом своем поступке Ивану Савельевичу и верили и во всех делах стояли с ним рядом.

По Буланову выходило, что просьбу Селиверстова Иван Савельевич не осмыслил сердцем, просто передал ее, и то, что Иван Савельевич поступился своей убежденностью, больше всего и беспокоило Буланова.

Буланова я понял, но не оправдал. И все-таки Буланова было жаль и не хотелось, чтобы пострадал он за свою неосмотрительность.

Иван Савельевич мой откровенный доклад принял молча и теперь ходил по кабинету. Я терпеливо ждал, когда он заговорит.

Наконец Иван Савельевич остановился. Не вынимая левой руки из кармана, он задумчиво глядел на меня из-под коротких светлых бровей. Я ждал, как Иван Савельевич решит судьбу Буланова. Но сказал он о другом:

— Растили, думали — орлята под крылом, а они, гляди-ка, орлы уже!.. Оно так и должно быть. Сам перед собой, молчком, покрывишь душой — в людях все равно отзовется...

Он постоял, додумывая свое, потом пошел, встал за стол. На зеленом сукне не было бумаг. Стол был, как чистая лужайка: когда день завершался, рабочий стол Ивана Савельевича отдыхал.

Помедлив, Иван Савельевич вытянул из деревянного стакана карандаш, склонился, записал в календаре. Подержал карандаш у подбородка, поставил на место. Сказал:

— Иштугинский и еще три района не дотягивают с хлебом. Селиверстов хочет, чтобы сдали за них...

«Селиверстов хочет...» — мысленно повторил я. В словах Ивана Савельевича не было согласия с Селиверстовым.

Я видел, как поднялись над столом тяжелые руки бывшего тракториста. Иван Савельевич стоял и медленно мял свои руки — то одну, то другую. Вот он короткими пальцами добела сдавил широкую кисть и отпустил, как будто отбросил.

— Слушай,— проговорил он глухо.— Было это в войну, в зиму с сорок второго на сорок третий. Подвез я на тракторе соломы к фермам. Собрался было ехать в МТС, да забежал погреться к Марии Осиповне — в ту пору она председательствовала у чапаевцев. Сидим, разговариваем. Влезает в дверь мужичонка в старых кирзовых сапогах, а на воле морозище — воздух побелел! Сбрасывает со спины в угол мешок. Молча уходит, притаскивает еще мешок, рядом ставит. Опять молчком уходит, приносит валенки. Шапку сдвинул на затылок, рукавом лоб утер, говорит: «Вот, Осиповна, валенки. На фронт пошлешь. Крепкие. Подшил. А зерно от нас со старухой государству».

Мария Осиповна, гляжу, не может со стола карандаш ухватить, пальцы не слушаются. И мне, сказать по правде, не по себе. Хлеба в те года, сам знаешь, сколько получали — до нового года не хватало. Был у человека заработанный кусок — и тот разломил, половину государству отдал.

Человек тот был Попов, Василий Иванович. Так вот люди понимали государственную необходимость. Сегодня мне Селиверстов говорит: «Надо вытягивать область». А я себя спрашиваю: есть ли в этом государственная необходимость? Попов в сорок втором свой ломоть пополам разломил, а сейчас тот же Попов — против. Хлеб он жалеет? Нет. Хлеба сейчас у каждого колхозника на два года. Попов честен и хочет, чтобы мы, представители государства, честно поступали с его колхозом... Если есть необходимость сдать сверхплановый хлеб — колхозник должен почувствовать эту необходимость. Попов необходимости не чувствует. И я не чувствую...

Добро бы сказал Селиверстов: помоги еще раз ишутинцам подняться. Лучших людей тут же собрал бы: езжайте к ишутинцам, на их фермы, на их поля — учите!.. Селиверстова беспокоит другое...

На что понадобился Селиверстову хлеб? Отрапортует Селиверстов. И все: и отсталые районы, и захудалые колхозы, и неумелые руководители — все прикроется этим рапортом. Так весной запоздалый снег покрывает брошенные на полях бороны, просыпанные на дорогах семена — все бело, все чисто! Да снег-то на другой день растает, вся бесхозяйственность — вот она, снова на глазах, осталась, как была!..

Хорошо, возьмем у Буланова фуражное зерно. По мясу, пожалуй, и по молоку, он своих обязательств не выполнит, недодаст. Кому недодаст? Государству.

Вот и хожу, и думаю: есть ли в требовании Селиверстова государственная необходимость или все это — нездоровое самолюбие руководителя? Вот если бы без весеннего снега, без этой благополучной одежки из общих цифр! Плохой руководитель так бы в голых и ходил, издали бы видели — голый!..

Я сидел потрясенный.

В тишине слышны были размеренные тяжелые шаги Ивана Савельевича. Он остановился у окна ко мне спиной, долго глядел на огни городка. За окном беспокойно шумел листьями тополь. С вечера над степью поднималась туча, теперь, похоже, туча заходила на город.

Иван Савельевич повернулся, подошел, ладный и крепкий, как штангист. На усталом лице улыбались все понимающие глаза, влажные и чистые, как у мальчишки.

— Что приуныл? — спросил он, взбадривая меня улыбкой.

— За тебя боюсь, Иван Савельевич! — сказал я, и голос мой дрогнул.

Я знал Селиверстова: деловит, но самолюбив и крут. Он не простит



Ивану Савельевичу отступничества. Даже если его поправят сверху, он может не сдержать себя. И райкому тогда не миновать суховея: с молчаливого одобрения Селиверстова потянутся кверху старатели, подобные Зуеву, заглушая голос и дела Ивана Савельевича...

— Не то говоришь, — строго сказал Иван Савельевич.— Ты что думаешь, Буланов сам по себе храбрости набрался выступить против меня? Нет, брат, время такое подошло. Народ и его и нас подpiraет и заставляет... А лецей из Колтубанки мы еще потягаем. Погоди, весной отсеемся, выберем утречко повеселее, этакое звонкое, ядерное, как яблоко, да с удочками на бережок, под ветлы!.. Уж тогда о делах — ни гу-гу!..

Он погрозил мне толстым пальцем и рассмеялся.

Мы вышли на улицу. Ветер упруго толкнул нас. Под уличным фонарем невидимая метла беспорядочно мела мостовую, скидывая листья, бумажки, прихваченную где-то солому. Тополь, выставив широкую грудь и распластав листья, сердитый и потрепанный, стоял на ветру. Летели с разломаченного тополя листья и ветки.

Запахнув и придерживая на груди непослушные плащи, упрямо пригнув головы, мы с Иваном Савельевичем молча шли рядом навстречу ветру и всей предгрозовой кутерьме.

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

Мартовские звезды . . . . .	3
Пропущенная заря . . . . .	14
Лебеди . . . . .	18
Мама . . . . .	20
Тепло жизни . . . . .	21
Диво . . . . .	24
В тумане . . . . .	25
Шишкарь . . . . .	27
Браконьеры . . . . .	30
Притоптух . . . . .	33
Иван Савельевич . . . . .	38

**Владимир Григорьевич КОРНИЛОВ**

### ПРОПУЩЕННЫЕ ЗОРИ

Редактор **Е. Ф. Олейник.**

Технический редактор **О. Н. Ласточкина.**

---

Сдано в набор 15.02.86. Подписано к печати 22.04.86. А 00672.  
Формат 70×108<sup>1/32</sup>. Бумага газетная. Гарнитура «Школьная».  
Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 3,06. Усл. кр.-  
отт. 2,28. Тираж 80 000. Изд. № 1063. Зак. № 2444.  
Цена 20 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография  
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865,  
ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.



## **ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!**

### ● Уважаемые товарищи!

Договоры страхования заключаются в пользу детей в возрасте не старше 15 лет родителями, бабушками, дедушками и другими родственниками ребенка. Поэтому в пользу одного ребенка можно заключить несколько договоров. Минимальная страховая сумма по договору — 300 рублей.

Заключив договор страхования в пользу своего ребенка, Вы получите возможность создать ко дню его совершеннолетия определенные денежные сбережения. По условиям страхования предусматривается выплата страховой суммы или соответствующей ее части и в течение срока страхования при наступлении определенных событий, связанных со здоровьем ребенка и обусловленных договором. С 1 января 1986 года значительно расширена ответственность органов Госстраха за такие события — страховая сумма может быть выплачена в удвоенном или утроенном размере, если это будет предусмотрено Вами в договоре страхования.

Размер страховых взносов зависит от возраста ребенка и страховой суммы. Поэтому заключать договоры страхования удобнее, когда Ваши дети еще маленькие.

Подробнее ознакомиться с условиями страхования детей можно в инспекции Госстраха или у страхового агента, обслуживающего Вас по месту работы.

**Госстрах РСФСР**